



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav 4998.962 (9)



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



НОВА
ПРОМАДА

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ
МІСЯЧНИК.

№ 9, Вересень 1906.

Що є в 9-й книзі:

Кривський А. Сам своє щастя розбив. Вірші	1
Брандес Г. Аватоль Франс. Переказла Н. Г. (кінець)	8
Чернявський М. Осліплення Париса. Опов.	20
„ Устань і йди!... Опов.	23
Доманицький В. Володимир Антонович	27
Кропивницький М. За тридцять п'ять літ	47
Бондаренко І. Велике повстання англійського народу	65
О. М. Весняної ночі. Ескіз	88
Панасенко С. Народня школа і рідна мова на Україні	93
Лісан-Тамаренко. На страшний суд. Опов.	107
Матушевський Ф. З російського життя.	

Значіння Души.—Невдатна спроба скласти коаліційне міністерство.—Репресії і наслідки їх.—Експедиція революційного руху.—Питання про диктатуру.—Закон про „воєнно-полевий“ суд.—Міністерська програма реформ.—Закони 12 та 27 серпня і 10 вересня.—Слово і діло.—Смерть Трепова

115

Ярошевський Б. За бордоном.

З'їзд професійних спілок в Англії.—Ірландська автономія.—Ліберальні партії в Германії.—З'їзд народньої партії в Мюнхені.—Роковий з'їзд імецької соціял-демократії.—Жіноча соціял-демократична конференція в Мангеймі

129

Бібліографія.

I. Остап Луцький. В такі хвили. (Поезії 1802—1806). П. Є.—Овчарняковъ В. Паньська звористь, або не берись жинку обдурити. В. П.—Й.—Сусида. Що то було сказано у Царських маніфестах видь 6 августа и 17 октября сего року. В. Г.—Національна рада. В. Г.—Павлик М. Листи Данила Тавячківча до Мих. Драгоманова (1876—1877). Д. Д.—ка.—Чеховський Н. Київській митрополитъ Гавріилъ Валузеско-Бодоли. В. Миронця.—Переход на хуторі. (Від Галлицької Земської Управи). В. Д.—Олександр Македонський, великий воєвник. Л. П.—ського

139

II. Українська преса

144

III. Що є во журналах: „Воря“, ч. 7—8.—„Києвская Старина“, июль—август.—„Літературно-Науковий Вістник“, т. IX.—„Ukrainische Rundschau“, № 9.—„Українскій Вістник“, №№ 12—14.

IV. Нові книги

147

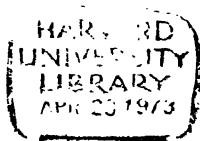
Нова

Громада.

Літературно-науковий
місячник.

№ 9, Вересень 1906.

△
Slav. 4998.962 (9)
✓



72 * 2

У КИЇВІ, 1908.
Друкарня С. А. Борисова, Маложиитомирская, № 16.

Що є в 9-й книзі:

Кримський А. Сам своє щастя розбив. Вірші	1
Брандес Г. Анатоль Франс. Переклала Н. Г. (кінець)	8
Чернявський М. Осліплення Париса. Опов.	20
„ Устань і йди!... Опов.	23
Доманицький В. Володимир Антонович	27
Кропивницький М. За тридцять п'ять літ	47
Бондаренко І. Велике повстання англійського народу	65
О. М. Весняної ночі. Ескіз	88
Панасенко С. Народня школа і рідна мова на Україні	93
Лісак-Тамаренко. На страшній суд. Опов.	107
Матушевський Ф. З російського життя.	
Значіння Думи.—Невдачна спроба скласти коаліційне міністерство.—Репресії і наслідки їх.—Експеси революційного руху.—Питання про диктатуру.—Закон про „воєнно-полевые“ суди.—Міністерська програма реформ.—Закона 12 та 27 серпня і 19 вересня.—Слово і діло.—Смерть Трепова	115
Ярошевський Б. За кордоном.	
З'їзд професійних спілок в Англії.—Ірландська автономія.—Ліберальні партії в Германії.—З'їзд народньої партії в Мюнхені.—Роковий з'їзд німецької соціал-демократії.—Жіноча соціал-демократична конференція в Мангеймі	129
Бібліографія.	
І. Остап Луцький. В такі хвилі. (Поезії 1902—1906). П. Є.—Овчинниковъ В. Паньска хворість, або не берись жинку обдурити. В. П—й.—Сусида. Що то було сказано у Царськихх манифестахъ видъ 6 августа и 17 октября сего року. Б. Г.—Національна рада. Б. Г.—Павлик М. Листи Данила Тянячкєвича до Мих. Драгоманова (1876—1877). Д. Д—ка.—Чеховскій В. Київскій митрополитъ Гавріилъ Банулєско-Бодони. В. Мировця.—Переход на хуторі. (Від Гайсинської Земскої Управи). В. Д.—Олександр Македонскій, великий войовник. Л. П—ського	133
П. Українська прєсса	144
III. Що є до журналєх: „Зоря“, ч. 7—8.—„Кієвскєя Старина“, июль—августъ. — „Литєратурно-Науковий Вістник“, кн. IX.—„Ukrainische Rundschau“, № 9.—„Українскій Вістникъ“, №№ 12—14.	
IV. Нові книги	147

САМ СВОЄ ЩАСТЯ РОЗБИВ.

I.

Перша зустріч.

На курорті коло моря,
Де розсівся наш гурток,
Підійшла ти, привіталась;
Сіла з нами на пісок.

Погляд кинула й на мене...
Я давно за тебе чув,
Що й розумна ти і вчена...
Весь тепер я спалахнув.

— „Ах, ви мабуть не знайомі?“
Каже нам одна з гостей.
— „Дуже радий“...— бурмочу я,
Не підводячи очей.

Тут дитинка підбігає:
— „Тьотю-Кетті!“... Ти—взяла,
Притягла її до себе
І за шию обняла.

Що ж мені так стало нудно,
І в душі якась печаль?
Що голубиш ти дитину,
То мені на тее жаль?!

II.

Тече розмова. Ти смієшся, рада...
Рука ж лежить на шиї у дитини.

Дивлюсь я мовчки. А в душі досада...

Очей не одведу з тієї картини!

І сам собі глузую: „Що зо мною!

Адже я заздрив супроти дитяти?!

Невже ж я зацікавився тобою,

Хоч перший раз доводиться й видати?!

III.

За тиждень. (На перську тему, з Джаміа).

Глянула ти,—я отерпнув од болю:

В серці—стріла.

Падаю... гину... Лиху мені долю

Ти принесла!

Мучись... А чом собі справді сконати

Я не даю?—

Тліє надія: захочеш узяти

Здобич свою.

IV.

За місяць.

Тітку стрічаю... сміється:

— „Ну, дак коли ж під вінець?“...

— Хто під вінець?!...— „Ви та Кетті!

„Треба ж робити кінець:

„Дівчина— гине за вами,

„Ви ж—то без неї вмерете“...

Я остовпів... і нічого

Йї не одмовив на те.

Швидче одбіг... застидався...

А в голові— наче чад:

„Кетті кохає!“... То—щастя?...

Чом же я щастю не рад!...

Доки не знав я про щастя—

Був поетичний співець;

Згинула вся поетичність,

Скоро я вчув: „під вінець“.

Нам під вінець?... Ти ж московка!
І росплодю я сім'ю,
Де од дітей буду чути
Мову чужу, не свою?!...

— Ні!—протестує натура:—
Годі!... не хочу Москви!
Гей, моє серце! мужайся!
Пути свої розірви!...

Так шепочу я, а серце
Стогне, скемить і рида:
„Кетті! ти щастя єдине!
Весно моя молода!“...

V.

„Я рідко бачив ласку од жінок
І вже, либонь, ніколи не побачу:
Негарний я, старіюсь між книжок...—
І... сам тепер своє я щастя трачу!
Все жертвую для тебе, краю мій!
Не зрадник я! я весь навіки твій!...
А чи пізнає хтось, мій рідний краю,
Що я себе на вівтар твій складаю!...“

І чую в голові недобрий сміх:
— Геть з п'єдесталу!... скинь з очей полуду!
Наплодиш ти вкраїнців, чи чужих,—
Хиба се не однаково для люду?
Йому ж однаково, котра мужа
Його вгризе, вкраїнська чи чужа!
Ти—пан! ти—пан! „Народній вівтар“... „жертва“...
Се панська мова, для народу мертва!

Тай чи велика жертва се твоя,
Що хвалиш так свою ти постанову!...
Тобі бридка—московська сім'я?...
Тобі потреба—чути рідну мову?...
З чужинкою—для тебе тяжко жить?...
Дак ось чому ти хочеш розлюбить!
Не жертва це: тут егоїзм—причина:
Зробила б так і кожная звірина.

Не смій казати: „Се, що я роблю,
Роблю для тебе, рідного народу!“
Ні! кйдаючи милую свою,
Собі самому чиниш ти догоду!
Ти тишиш власний націоналізм,
І се не жертва: простий егоїзм.
Не смій брехать: „Себе я офірую!“...
Кажі простіш: „Я свій спокій рятую“.—

Такі думи голова снує,
А серце роздирається з одчаю.
В моім коханню—щастя все моє,—
І щастя я навіки одкидаю!
Я ріжу душу, сам себе гублю:
Для рідної ж ідеї це роблю!
Це ж лютий біль!... Бо я—не скеля мертва!...
І я стогну: „Се жертва, жертва, жертва!“

VI.

Я молюся до Бога, благаю:
„Дай забути про милу скоріш!“...—
Помолюся—тай бачу з одчаєм,
Що кохаю іще гарячіш!
На колінах благаю я Бога:
„Дай забути туди мені путь“!...—
Підведуся...—до милого дому,
Аж сами мене ноги несуть!

Дак оце тая сила з молитви?!
Проклинаю ж, молитво, тебе!
Я не хочу і Господа знати,
Що слабому всі нерви скубе!

VII.

Раптом дощ!... А ми з тобою
Йшли бульваром, через луку.
Швидче зонта розіпнув я
Тай узяв тебе під руку.

Притиснулась ти до мене
І тремтіла... і тремтіла...
А мені горіло серце,
Аж і дихати не сила!

Хоч уста мої й мовчали,
Але нісся вопль до Бога
Із глибинь душі моєї:
„Боже! будь моя підмога!

„Придуши мій рот кліщами,
„Придуши мою природу!
„Не дозволяй сказати „кохаю“,—
„Не з мого вона народу!“...

І крізь зуби процідив я:
„Взавтра... грають... тут... музики“...
А душа моя стогнала:
„Весь я твій!... я твій навіки!“...

VIII.

„45—46“. (Остатня зустріч).

Взавтра маєш ти їхати звідси,
А сьогодні—в театр ідемо.
Це остатній я вечір с тобою...
Чи здолію не впасти в ярмо?

Ми прийшли, поспішаємо сісти
(Третій дзвоник подав уже вість).
Подививсь я на наші білети:
„Сорок п'ять“..., разом з ним: „сорок шість“.

Не розрізана пара білетів!...
І в душі моїй—стон самоти:
„Чом не можу в життю я так само
Вічно в парі з тобою пійти!“

„Сорок п'ять—сорок шість“... Перед нами
Ще десятків чотирі є місць.
Та чи буде там другая пара,
Як оця: „сорок п'ять—сорок шість?“

Ні, не буде! Ніхто не спроможен
Так любитись, як пара оця!...
І невже нам узавтра розстались,
Не сказавши про те ні слівця?!

Ти чого так нервово трепещеш?
Ждеш од мене признання того?
Я страждаю, та ба! не признаюсь...
Ти—чужа: не з народу мого!...

От на сцені конає Трав'ята,
Весь заплёскав театр, аж гуде.
Люди, люди! На сцені ж не драма!
Справжня драма—в партері іде!

„Сорок п'ять—сорок шість“ у партері—
Там трагедья така, що аж страх!
Лиш з біноклем її не побачиш,
Бо трагедія—в наших серцях.

ІХ.

(З арабсько-андалуського).

Подивився я в дзеркало вранці
(Попереду ще й порох обтер)...
І жахнувся... Не можу впізнати,
Се ж *кого* я побачив тепер?!

Га! на мене із дзеркала глянув
Незнайомий, старенький дідусь!...
Ну, а досі я, навіть і вчора,
Бачив парубка!... Богом божусь!...

Аж згукнув я: „Та де ж він подівся
Учорашній отой молодик?!“...
І здається, що й дзеркало нишком
Висміває мій жалісний крик

Ще й глузує: Зустрінешся з нею,—
То й для неї ти будеш чужий.
Вже не скаже: „Здоров був, молодче!“
Скаже: „Хто ви, дідусеньку мій?“

Х.

ЗА ПІВ РОКУ.

Вчора балакав оратор.
Тема „Потреби людей“...
Воля..., братерство і рівність...,
Тисячі гарних ідей...

—Сійте!—кажу.—А народність?
Це вам згадати не тра?
—„Ат! Що ж такеє народність?
Слово! порожня мара!“

Тупо я глянув на мовцю...
Ех, сотворіння дурне!
Смієш ти звати марою
Силу, що нищить мене?!
В жертву для неї спалив я
Щире кохання своє.
Біль по розбитому щасті
Дихать мені не дає.

Глянь: не стара ще людина,
Весь я—руїна стара!
Весь я зігнувся, посівів!...
Має се бути „мара“?!
Будь національність марою—
Зжертви мене не могла б!...
Ні! Це—гнітюча потреба,
І перед нею я—раб.

Можу ярмом її звати,
Можу її проклинать,
Але й прокляту народність
Не перестану кохать!

Москва, 29 мая 1906 р.

А. Кримський.

АНАТОЛЬ ФРАНС.

Г. БРАНДЕСА.

Кінець.

IV.

В більшості історичних писань, як відомо, єсть та вада, що картини минулого переставляються відповідно до того значіння, яке вони стали мати в пізніші часи. І Гобіно Мікель Анджело говорить про Рафаеля так, як говорено про його в XIX сторіччю, коли називано їх укупі. У Оскара Уайльда Іван Хреститель, говорить те, що написано було в Євангелії не скоро після його смерти. Всюди в сучасній поезії та в сучасній умілості де тільки зачіпається Ісусів образ—все одно в якому дусі—чи в Пауля Гейзи, чи у японця Садакіхі Гартмана, або в данця Едварда Седерберга, він—головна особа, яка інтересує всіх.

Надзвичайно тонко Франс, у своїй повісті „Іудейський Прокуратор“, поставив Ісуса на відповідне місце в душі римлянина сучасної йому епохи. Що Ісус, його життя й смерть інтересували тоді тільки невеличку групу простих людей з Єрусалиму, це зрозуміло кожному, хто вміє читати, уже через одно те, що Іосиф Флавій, який знає все про сучасну йому Палестину, нічого не знає й не згадує про його. Кажуть, що тава подія, як расп'яття на хресті, повинна була зробити вражіння, але ж забувають, яким звичайним та непомітним з'явищем було расп'яття на хресті в неспокійні часи. Підчас іудейської війни 70-го року, коли вбито було 13000 іудеїв в Скиєополісі, 50000 в Олександрії, 40000 в Іотопаті, а всього 1.100.000, Тит роспинав на хресті пересічно по 500 іудеїв що-дня. Їх забірано в бран, коли вони тихцем прокрадалися за Єрусалимські стіни, мучено їх голодом, потім катовано, а потім роспинано, так що в кінці в Палестині вже не стало дерева на хрести.

Головною дівою особою Франс узяв Тита Елія Ламію, якому присвячені 17-і вірші в 3-ій книжці пісень Горация,—молодого гульвісу, якого Тиверій, як говорить Франс, вигнав за еротичний злочин проти жінки одного консула. Як він приїздить у Палестину, його гостинно прийняла сем'я Понтія Пілата. З того часу минуло сорок років. Елій Ламія давно вернувся в Італію; тепер він купається в Баях і саме сидить над стежкою на шпилі, читаючи свого Лукреція, коли це проз його проходять раби з ношами, і йому здається, що чоловік, який на їх лежить, його колишній приятель.

І справді виходить, що це Понтій, який живе тут на водах укупі з своєю старшою дочкою, удовою. Вони пригадують давні часи. Понтій оповідає, скільки клопоту мав він через цих іудеїв, що не хотіли поклонитися імператорському потретові на корогвах і легше було їх забити до смерти, ніж змусити на його молитися. Вони тільки й знали, що прибігали до його, вимагаючи смерти якомусь нещасливому, що зробив цілком не зрозумілий Понтієві злочин і який здавався йому таким саме божевільним, як і ті, що його обвинувачували. Ламія говорить, що Понтій не помітив, що у цих іудеїв єсть також і гарні риси. Але він признається, що йому особливо подобаються їхні жінки. Він бачив одного вечера, як одна з їх танцювала, піднявши вгору руки, під музику кимвалів, на нікчемному килимі, в напівтемному шинку. Танець був варварський, спів хрипкий, але рухи її тіла просто зачарували, а погляд танцівниці нагадував Клеопатру. Вона мала пишне руде волосся, і він довгий час ходив усюди за нею. „Але вона втікла від мене,—говорить він далі,—як молодий галлєйський проповідник та чудотворець з'явився в Єрусалимі. Вона весь час була біля його і приєдналась до невеличкої купки мужчин та жінок, що не відходили від його. Ти його, звісно, пригадуєш.

— Ні,—говорить Пілат.

— Його звали, здається, Ісусом; він сам із Назарету.

— Я його не пам'ятаю,—говорить Пілат.

— Ти повинен був його розп'ясти на хресті.

— Ісус,—бубонить Пілат,—з Назарету...—зовсім не пам'ятаю.

Ось яким оригінальним способом керує думкою в читача Франс, і вся його вмільсть у його глибокій правді.

Він такий не нахильний розглядати відносини Пілата до Ісуса в освітленні пізніших часів, що заставляє римського намісника зовсім забути про факт цілком звичайний для його, а Ламію пам'ятати про його тільки через Магдалину.

Франс змалював Магдалину ще раз в оповіданні „Laeta Acilia“ в збірнику Balthasar. Тут вона, вигнана з Іудеї, приїздить на кораблі до Марселю і силкується повернути до христіанства жінку римського воєвника, що прийняла її до себе. Римлянка бажає мати дитину. Марія обіцяє молитися за неї. Як вона вдруге приходить до неї, виявляється, що Лета Ацілія вагітна. Тоді Магдалина оповідає їй, що сама була грішницею, як побачила вперше прекрасного мужа, Сина людського. Сім бісів він вигнав з неї. Вона кинулась перед ним навколішки в домі Симона та й вилила на божественні ноги Равві все миро з алавастрового глечика.

Вона переказує слова, які ласкавий учитель сказав на її оборону, як ученики, зневажаючи її словами, хотіли її одштовхнути. З того часу вона жила під захистом учителевим, неначе в новому раю. Через те, як він воскрес, вона перша його побачила.

Але римлянци здається, що Магдалина хоче збудити в неї огиду до спокійних радощів життя. До цього часу вона навіть не догадувалась, що єсть на світі инше щастя, окрім того, яке вона знає.

„Я не хочу знати твого Бога. Ти занадто його любила. Щоб заробити в його ласки, треба падати йому до ніг з расплетеним волоссям. Це не личить жінці римського воєвника. Іди своїм шляхом, іудейко! Твій Бог не може стати моїм. Я не була грішницею і ніколи не сиділо в мені сім бісів. Я не блукала шляхами роспусти. Я чесна жінка. Іди своїм шляхом!“

Франса приковує до цих образів контраст між переживаннями обох жінок—релігійно-еротичною палкою радістю азіятки та визначеним традицією подружнім коханням римлянки.

Таким способом, як поет, він завжди зустрівається з історією.

VII.

А тим часом до числа тих багатьох річей, у які він не вірить, належить також і наукова історіографія. Історія малює ми-

нулі події. Але що таке „подія“? Видатний факт. Хто рішає, чи цей факт видатний, чи ні? Це рішає на свій смак історик. До того ж факт занадто складна річ. Як же малює його історик? Таким складним, як він є справді? Це неможливо. Значить, він його обтинає та скорочує. Але історичний факт з'являється наслідком неісторичних або невідомих фактів. Як же історик може довести їхній з'язок?

Ці думки так турбують Франса, що він аж тричі їх висловлює: в передмові до *La vie litteraire*, в *Поглядах д. Жерома Куан'яра* і в *Епикуровому Саду*. Як поет, він любить відніматися сміливість у вчених своїм ваганням. Неможливо, — запевняє він, — знати минуле; щоб прочитати все те, що треба прочитати, не стане людської сили. Двічі оповідає він про це притчу і що-разу з однаковим змістом.

Як молодий царевич Земир став перським царем, він скликав учених із свого царства і сказав їм: „Мій учитель вияснив мені, що царі повинні знати історію всіх народів, щоб не помилятися. Напишіть мені всесвітню історію та зверніть увагу на те, щоб вона була повна“.

Через двадцять років учені знову прийшли до царя, а за ними йшов караван з дванадцятьох верблюдів і кожен верблюд віз на собі 500 томів.

Секретарь академії сказав невеличку промову і здав усі 6.000 томів.

Царь, що мав дуже багато клопоту, керуючи державою, подякував їм.

— Але я прожив уже половину свого життя, — сказав він, — і коли навіть доживу до старости, то не встигну прочитати такої довгої історії. Скоротіть її!

Учені працювали ще двадцять років і вернулися з трьома верблюдами, що везли 1.500 томів.

— Ось наша праця; ми, здається, не проминули нічого важливого.

— Дуже можливо. Але я вже старий. Скоротіть історію та поспішайтеся!

Всього через десять років вони вернулися з молодим слонком, що віз 500 томів.

— Цього разу ми виложили дуже коротко.

— Це правда, але скоро кінець моему життю. Скоротіть іще!

Через п'ять років секретарь вернувся. Він ішов на милицях та вів на повіді маленького ослика з товстою книгою на спині.

— Поспішайтеся,—сказав йому офіцер,—царь умірає.

— Мені доведеться вмерти, не довідавшись про історію людскости,—сказав царь.

— Ні,—відповів старий учений.—Я можу оповісти її трьома словами: люде родилися, мучилися і вмірали.

Через це, не вважаючи на те, що мав великі здатності до того, щоб бути вченим, Франс став новеллістом та романістом, а не істориком.

Хоча він не такий песиміст, як можна думати на підставі останніх слів. Люде в його мають також і радість, і він завжди обстоює вартість радості перед усяким аскетизмом та вченням про те, що мука—це добро.

Але ця невіра до історії типічна в його скептицизмі.

VIII.

Найвища розумова загостренність небезпешна, бо тягне за собою непевність. У того, хто бачить речі з усіх боків—інтерес до людскости може потопнути в погорді до людини. І тоді, маючи чисто песимістичний розум, легко стати прихильником жорстокого гніту. Франс був дуже близький до цієї небезпешности. Ще перед десятима роками здавалося, що його розвиток практично міг довести його так саме до реакції, як і до радикалізму.

Як салдатам заборонено було читати книжку Абеля Германа (Hermant) *Le Cavalier Miserey*, досить добрий військовий роман, в якому критиковано військо—Франс писав:

„Я знаю тільки деякі місця славетного наказу, який командір дванадцятого полку стрільців звелів прочитати в Руані. Ось вони: „Кожен конфіскований екземпляр *Le Cavalier Miserey* буде спалено на гної і кожну людину, що належить до війська і в якій знайдено буде екземпляр цієї книжки, посажено буде до тюрми“. Це не дуже елегантна фраза, але я все-таки більше хотів би написати її, ніж усі 400 сторінок роману“.

Тоді вважано за злочинство зачіпати військо. Хто знає, що Франс потім писав про його, той зрозуміє, як він страшенно відминився.

Як настав момент кризи, то виявилось, що ця людина мала не тільки розум та талант, як мають інші, а ще й волю, і що в глибині своєї істоти він був скептиком тільки в тому розумінні, що зберіг віру в ентузіазм, віру в законність великого розумового повстання, яке підняло XVIII сторіччя, та ентузіазм до його.

Як поет, він мав дві головних сили. Перша—простодушність, через яку його сотворіння не маріонетки, як це часто бачимо у Вольтера, а вільно пересовуються своїми ногами, та живуть цілком незалежним життям, якому не перешкоджає автор. Простодушність надає цим істотам самостійну природу.

Другий елемент у його—вмілість. У його єсть те, що він сам називає трьома великими властивостями французького письменника: зрозумілість, зрозумілість і зрозумілість. Але це тільки одна з основних рис його умілости. Він має до того ще поміркованість і такт, про які сам, як справжній француз, каже, що вони і творять справжню умілість. Коли Золя, як романіст, і викликав у його до себе огиду, то це саме через те, що цьому італійцеві в такій високій мірі бракувало, як артистові, почуття міри. Сам Анатоль Франс, як повістяр, дуже видержаний.

Йому не стає запалу; і еротичним він ніколи не буває; еротика у його—тільки епікуреїзм. У його єсть еротичність та розумова загостренність—перша в дуже значній мірі і остання в такій, що переважає все.

Взагалі він більше художник та мислитель, ніж поет. Делакруа говорить, що умілість—це прибільшування в відповідному місці. Прибільшування у Франса в тому, що він вкладає до голови своїм постатям безліч дотепних думок, які іноді ледві поміщаються в його книгах (дивись багато сторінок у *Thaïs* та в *Balthazar*), або яким іноді доводиться шукати місця поза ними в цілих томах, як наприклад: *Погляди Куан'яра*, *Епікуреїв Сад*, значна частина *Pierre Nozier*. У його більше ідей, ніж почувань. Він на все реагує дотепною думкою, все тягне до свого суду,—не тільки людські передсуди та інституції, але й саму природу.

Він докоряє їй, напр., за те, що вона так рано народжує молодість і заставляє нас далі жити без неї. Молодість повинна з'являтися в кінці, як цвіт життя, як стан метелика, що у комах

буває після стану гробака та лялечки, і як остання, як вища ступінь метаморфози, повинна безпосередно попереджувати смерть.

Сам Франс свого найвищого розвитку досяг на останці. Бо в своїй пізнішій метаморфозі, як він виступив борцем, він не втратив ні найменшої частини своєї іронії, або артистичної переваги, одного з результатів іронії. Ніколи ця іронія не святкувала таких тріумфів, як у найблискупішому з його бойових творів *Аметистовому перстені*, де найлегковажніші вчинки rendez-vous за rendez-vous і адюльтер за адюльтером стають кільцями дотепно сплетеного ланцюга інтриги, що мають на меті виконати честолюбне бажання молодого фінансового барона одержати записки на мисливство до високо-консервативного аристократа і які доводять до того, що пронозуватий та підлесливий піп одержує єпископський перстень. Цей піп усюди плазував і своїм приниженням заставляв ворухитися мужчин та жінок. Та ледве його зроблено єпископом, як він зараз же скидає з себе маску і з'являється войовничим слугою церкви, непримиримим ворогом держави.

Ми потопаємо тут поглядом у цілій безодні іронії.

Як артист, Франс навіть тоді, коли він найбільше войовничий, зберегає свій олімпійський спокій.

Що йому не бракувало запалу по-за межами умілости,—це виявилось у той день, коли тонкий скептик круто змінив напрямок і як бойовий письменник пристав до певної партії,—як народній оратор, заявив себе радикалом-соціалістом.

Він не був природженим оратором. Але своєю величністю заробляв собі поспіх. Щоб прикувати з самого початку увагу мас, він звертався до чогось конкретного, напр., до якої-небудь старої народньої казки. Він оповідав одного разу про чарівного атлета, що міг ставати вогняним драконом, а коли дракона вбивано, ставав зовсім свійською качкою. „Я мимоволі згадав цього атлета,—говорив він далі,—коли мені довелося цими днями читати програми, що поросклеювали на стінах націоналісти. Ми бачили, як на наших вулицях та бульварах у їх полум'я пашіло з очей, з горла та з ніздрів. Як грізні дракони, розпускали вони крила та показували свої страшні кігті. І все-таки їх полужано і вони восересають тепер до нової проби сили з гладенькими перами, з таким виглядом наче вони належать до наших свійських птахів,

і з покірним голосом свійської тварини. Яка надзвичайно дивна метаморфоза!

Ця передмова була така комічна та популярна, що відразу привернула слухачів, які довго не перестаючи сміялися та весело плескали.

Одного вечора в жовтні 1904 р. в Парижу, як члени скандинавських парламентів ¹⁾ поїхали на бенкет до міністра чужоземних справ д. Делькассе, де вони мали випадок побачити найвище громадянство і в тому числі дипломатичний корпус з його елегантними дамами в чудових туалетах, я вважав за краще, замість, щоб дивитися на цю привабливу виставу, поїхати в Трокадеро, де в той вечір мали говорити перед великим зібранням трое з найславетніших діячів Франції, яких запросила соціалістична партія.

Зала вже була повна-повнісенька, але ті, що порядкували зборами, ласкаво zostавили мені місце на естраді біля ораторів,— це дало мені змогу обхопити одним поглядом 6000 чоловік, що сповняли увесь партер та всі ложі аж до стелі у величезному, дуже гарному будинкові. Залу збудовано як величезний театр, в якому сцена така саме заввишки, як перший поверх. Слухачі зібралися завчасу і ждали з напруженою увагою.

Ці три оратори—це були Франсіс де-Прессансе, Жан Жорес і Анатоль Франс,—найсуворіший борець за справедливість з усіх французьких політиків, найкрасномовніша людина у Франції на одностайну думку всієї нації і найбільший французький письменник.

Промова Франсіса де-Прессансе була проста та відрізнялася гордою силою. Це була красномовність гугенота. Він сходить і стоїть прямий та спокійний, говорять без жодного руху, не звертається до публіки, об'єктивно тільки апелюючи до почуття справедливості в інших. Він оповідає факт за фактом і поясняє їх. Спосіб вислову у його такий упевнений, що він ніколи не шукає слів, хоч як швидко говорить, ніколи не уриває фрази, хоч як

¹⁾ Брандес їздив до Парижу, коли д'Етурнель де-Констан спеціально запросив туди скандинавських парламентських діячів. *Ред.*

Бувши в Парижу він сказав у Сорбонні цікаву промову про вплив Франції на літературу скандинавських країв. *Увага перекл.*

швидко вона в його вихоплюється. Він ніколи не спинається навіть на мить, хоча це звичайний спосіб французьких ораторів, щоб сказати щось особливо влучне та сильне і цим викликати оплески. Він не дає на їх часу і говорить далі не роблячи паузи; ніщо не ворухнеться в його на обличчю,—він наче їх не чує.

Коли прийшла Жоресова черга, поприйmano навколо з естради всі стільці, бо йому потрібно було, щоб вона вся була вільна. Красномовність у великого соціаліста чисто католицька. Він нагадує славетних проповідників з неаполитанських церков. Він так саме виріс на півдні, як і вони. І так саме, як вони, він почуває потребу просторої трибуни, на якій можна ходити підчас промови, можна спинятися, повертатися і крутитися на всі боки.

Голос у його нагадує голосну трубу на страшному суді. Ледві він починає говорити, як од цього металевого згуку вгорі під стелею починають труситися вікна. Своім голосом він цілком не вміє штучно користуватися, він не здержує його навіть спочатку, зовсім не вживає ні *crescendo*, ні *diminuendo*; з першого до останнього слова він увесь серйозність та запал. Через те навіть у залі, де може поміститися 6000, його голос здається занадто дужим на такий простір і згуки иноді відбиваються неприємно. Його було б краще чути, як би він більше себе беріг.

До того ж він має сценічний талант. Схиливши голову, він кидається, неначе штурмовий таран, на невидимого ворога. Або нахиляється наперед, розставивши руки, і раптом випростується. Або схиляється до землі, зчулюється і тоді відразу випростується одним рухом. Він говорить із запалом і вкінці увесь обливається потом. Його форма—пафос; пафос войовничий та чоловіколюбний.

Він не зовсім добре уміє себе обмежувати в своїй імпровізації. Він говорить занадто довго. Все ходить та ходить перед вами ця сутула постать, широкоплеча, кремезна, важка та груба з масивними членами та короткою шиєю; все миготить перед вами ця кругла голова, це гарне обличчя з широкою бородою. Поруч з Жоресом Франс та Прессансе скидалися на оленя та на коня поруч із волон.

Франс властиво не говорив, а читав; він завжди так робить,—можливо через те, що як письменник, він занадто береже кожну свою фразу, щоб віддавати її на жертву випадкам хвилини

Його виклад—це видержана до кінця іронія, крізь яку де-не-де проскакує серйозність, що робить ще більший вплив через те, що зустрівається дуже не часто. Його стиль вимагає, щоб ні одного слова не було проминуто або переставлено на інше місце. Але він заробляє у публіки успіх та викликає своїм поміркованим тоном сміх і співчуття. Франс оповідає про те, що трапилось, і становить знак запитання і слухачі всміхаються; знак вигуку—і вони повинні подумати. Він становить скобки, і між їхніми дугами виразно видко всю нахабність тієї нісенітничі, що стоїть по-за їми.

Спочатку Франс говорив про те становище, яке сотворив Бонапартів конкордат, і про те, що держава платить гроші понам трьох, але тільки трьох релігій—католицької, протестантської та іудейської, але тільки цих трьох,—бо сюди не належить, наприклад, магометанська віра, хоча на протязі минулого сторіччя у Франції стало підданих магометан далеко більше, ніж вона мала протестантів та євреїв.

Франс жартом натякнув на давнє оповідання Боккаччіо про три перстні, яке Лессінг позичив у його для свого *Натана*.

„У нас міністер культів, так саме як батько в старосврейській притчі має три перстні. Він не говорить нам, який між ними справжній і робить дуже розумно. Але коли він уже має не один перстень, то чого ж у такому разі тільки три? Наш Отець Небесний дав своїм синам більше, ніж три перстні, і дав їх так, що не можна відрізнити, де справжній. Пане міністре культів? Через віщо у вас не всі перстні Отця Вашого Небесного? Ви оплачуєте працю священників деяких релігій, а інших—ні. Але ж ви не граєте ролі судді над релігійною правдою. Ви не будете запевняти, що правда у цих трьох релігіях, бо кожна з них енергічно осуджує дві останніх.“

Справді, умови в яких стоїть це питання у Франції, страшенно нерозумні. Але вони все-таки кращі, ніж у Данії, бо держава однаково відноситься до трьох релігій, в той час як у нас вона піклується тільки про одну. Це залежить не від того, що у Франції більше диссидентів ніж у Данії, бо католиків там 98 процентів, протестантів 1,6, євреїв 0,14. Зате магометан там більше, ніж 8 мільйонів.

Франс висміював стару формулу: „вільна церква у вільній державі“. Це все одно що сказати: „узброєна церква в розброєній державі“.

„Ми повинні, — говорив він, — дати церкві, яку відділено від держави, волю, але не цілковиту, надприродню волю, яка не існує, а волю справжню, обмежену всіми іншими волями. Будьте ж певні, що церква не буде вам за це вдячна. Вона вважить таку волю за глум та за образу.“

Франс далі почав говорити про відносини між Європою та Східною Азією. Він таким способом розвивав свою тему. Європейські держави мають таку завичку: тільки починаються розрухи в небесній Імперії, — вони посилають туди, кожна зокрема або всі вкупі, салдатів, які втихомирюють крадіжками, насильствами, грабуванням, підпалами та душогубством і заспокоюють край гарматами та рушницями. Беззбройні китайці не обороняються, або обороняються дуже погано.

„Через це їх рубати і зручно і легко. Вони звичайні та ремонні, але їх докоряють за те, що вони не почувують симпатії до європейців. Наші обвинувачення проти їх рідні тим, які виставляв Дюшал'ю проти своєї горіллі. Я знав цього добродія, що привіз до Європи першу горіллу. Він сам надзвичайно скидався на цю тварину і скидався на неї в усякому разі більше, ніж на людину“.

Франс почав оповідати про його. Він застрелив у лісі з рушниці горіллу-самицю. Умираючи, вона стискала в обіймах свою дитину. Дюшал'ю вирвав у неї дитину і потяг її за собою через усю Африку, щоб продати її в Європі. Але молода тварина давала йому привід скаржитися на неї. Вона була якась нелюдяна. Вона вважала, що краще вмерти з голоду, ніж жити із своїм хазяїном. Вона не хотіла нічого їсти. „У мене не ставало сили, — пише Дюшал'ю, — поробити що небудь з її поганою вдачею.“

Ми маємо таке саме право скаржитися на китайців, яке мав Дюшал'ю скаржитися на свою горіллу.

Франс далі говорив про жовту небезпешність для Європи і казав, що її не можна порівняти з білою небезпешністю для Азії. „Жовті люди не посилали буддійських місіонерів до Парижу, Лондону та Петербургу. Так саме на французькому березі ніколи не з'являвся жовтий експедиційний корпус і не вимагав собі шматка землі, на якій жовті не повинні були б слухатися ні держави, ні законів, а корилися б тільки своїм мандаринам. Адмірал Того не приходив до нас із своїми кораблями і не бомбардував пристань

у Бресті в інтересах розвитку торгівлі між Японією та Францією. Він не палив Версалю во ім'я найвищої освіти та моральности. Він не забірав до Токіо малюнків з Лувру та фарфору з Елісейського палацу.

„Звичайно вважають, що жовті занадто мало пішли наперед шляхом поступу, щоб могли так точно імітувати білих. Не вірять у те, щоб вони могли коли-небудь піднятися на такий високий ступінь моральної культури. Та й як вони справді можуть бути такими моральними, як ми? Адже вони не християне.“

Таким простим способом і з такою одначе глибокою іронією Франс уміє захопити аудиторію, яка складається з заступників далеко не одного соціального класу. Коли цікаво було слухати оратора, то не менше також цікаво було уважно дивитися на слухачів та помічати, як слова його захоплювали їх та який ентузіазм у їх викликали.

Але їх назавжди приковує до Франса не стільки його до-тепність, скільки він сам,—те, що він учений, який має цілих три культури, навіть більше—що сам творить собою маленьку культуру, цей мудрець, якому все земне життя здається тільки маленьким сипом зверху на земній кулі і через це кожне людське бажання нічим, цей глибокий розум, що може бачити всяку річ з усіх неоднакових боків і який упевнився, що те, що існує, стоїть, в найгіршому випадку, на такому самому ступіні, як і те, чого ми не знаємо,—заявляє себе сином революції, стає на бік простого народу, виголшує свою віру в свободу, викидає весь свій багаж та виймає меч із піхви,—ось що захоплює його слухачів з народу, ось що прості люде розуміють та вміють шанувати.

Це їм показало, що в письменникові жила людина, в великому письменникові—мужній громадянин.

Перекл. Н. Г.

ОСЛІПЛЕННЯ ПАРИСА.

Оповідання.

Уже три дні дим повивав землю і мляво тягся зі сходу на захід, а вночі хмарне осіннє небо то в однім, то в другому краї прояснювалось і червоніло, будячи в людях трівожні й важкі почуття. Люде спинялись на перехрестках і, дивлячись на червоні хмари, про щось шепотіли, а собаки сумно вили.

Всі ждали того, що повинно було бути, що неминуче наближалось зі сходу й освітлювало свій шлях пожежами.

І на підкряжнівським хуторі ждали своєї черги.

За сі три дні уже всіх панів навколо зрабовано. Черга була за підкряжнівським хутором. І там ждали страшного часу. І коли вранці здалека по шляху на хутір долинув людський гомін і почулось незвичайне торохкотіння колес, то всі разом зрозуміли, що то значить.

— Ідуть грабувати!...

І грабіжники прийшли. Вони оточили хутір з усіх боків і кинулись на його, як роздратовані бджоли: все панське, нажите мужичими руками, скроплене мужичим потом, повинно бути одібране або розбите, спалене, знищене, щоб і сліду його не зосталось.

Грабіжники ламали двері вимбарів і комор, вибірали звідти зерно і зсипали на свої вози, виносили всяке збіжжя й ділили між собою. Далі повиганяли з базів скотину, а з кошар овець, і кожен брав собі те, що йому подобалось, і не счинилось ні однієї суперечки або сварки: вистачало всього на всіх.

Повиводили із стаєнь коней і розібрали й їх собі.

І ніхто не гвалтував і не обороняв панського добра. Наймити й наймички стояли й дивилися на те, що творилось, і осміхались. Ім було і якомсь ніяково, а проте й весело, що в дворі стільки чужого народу, і всі так поспішаються й метушаться, і кожен бере, що хоче. У всьому тому було щось надзвичайне, неначе несподівано надійшло якесь свято.

Не сміялись тільки пан та управитель. Вони сиділи в своїх домах за запертими дверима і тремтіли з жаху, а сім'ї їх плакали...

Коли повиводили з стаєнь усіх коней, то наприкінці невеличкий руденький чоловічок, у полатаній рудій свитині, у великій з розідраним верхом шапці, вивів буланого породистого рисака Париса і, підвівши високо над головою повод, гукнув:

— Хто хоче? Кому?...

Парис прудко обвів очима подвірря і, труснувши густою розкішною, хвилястою гривною, насторочив вуха й захропів, одступаючи назад: скрізь були чужі люди і творилось щось недоладне.

— Стій! Не хочеш?...—гукнув чоловічок і смикнув що сили поводом.

Удила вдарили Париса по щелепах, і він з болю й образи гордо звівся на диби, висмикуючи повод з рук у чоловіка.

Той ледве встояв на ногах, а шапка зсунулась йому на потилицю.

— Стій, падло!—гукнув він, злісно загравши невеличкими очима й аж присідаючи до землі, щоб удержати коня на місці.

— Веди його сюди, на серед двору!—гукало кілька голосів.— Сюди, сюди! Хто хоче рисака?...

Париса вивели на-серед двору, і він стояв, гордо підвівши вродливу голову, ставний і нервовий, готовий знов звитись на диби й кинутись геть од сього людського натовпу.

Мужики обдивлялись на його з усіх боків.

— Гарна штучка!...

— Конячка не погана.

— Бери, Нечипоре, собі: будеш жінку катать!—яхидно радив сіряк з відлогою старенькому обшарпаному кожушкові.

— Хай він тобі здохне!—соромливо осміхнувся той в сивовату скудовчену бороду.

— Бери, бери, Нечипоре!—гукали, сміючись, другі.—Коник нічого собі, саме по тобі!...

Всі реготались, але ніхто не наважувався взяти собі Париса: не підхожий.

— Давайте мені!—пробився крізь натовп якийсь хлопець у драній свитині.—Давайте мені, я візьму.

— Тю на тебе, що ти з ним будеш робить? У вас з матір'ю й собаки ніде держать, а він коня хоче. Геть!—одштовхнув рудий дочасний володар Парисів хлопця і знов смикнув за повод.

Парис жахнувся, захріп і рванувся з рук.

— Так хто ж візьме?

— Нікому він не потрібен! Хай застається панові.

— Панові?... Хай краще здохне! Тпру, проклятий!...—крикнув рудий чоловічок, знов смикаючи за повод і, підбігши до Париса, ударив його чоботом під бік.

Парис шарахнувся геть, але не вирвався, а тільки боляче обшморгнув поводом руки своєму мучителеві. Він хропів, тяг за собою на повіді чоловіка і злякано поводив своїми чепурними блискучими очима.

— А, ти он як?... Так ось тобі!...

Чоловічок хутко нагнувся, загорнув полу свити й витяг з кишені ніж. Ніхто не встиг отямитись, як він, мов кішка, вчепився в голову Парисові і двічі вдарив його ножем. В одне око і в друге.

— Ось тобі!... Ось тобі!...

Кров бризнула Парисові з очей. Він що-сили метнувся назад і заржав од болю й жаху.

— Що ти зробив, ироде!—гукнув хтось з людей до рудого ката.

— Те, що бачив!—злісно буркнув той, кидаючи повод і витираючи об землю ножа.—Панське бидло, нехай пропадає!...

.....

Парис, тремтячи всім тілом, стояв серед двору й витягши наперед голову, жалібно ржав. З очей йому текла кров, бігла вниз і падала на землю. Він стояв на одному місці й на його ніхто не звертав уваги, бо вже звився вгору огонь на току і в базах: останній акт драми кінчався ілюмінацією.

Грабіжники тікали з хутора, навантажені здобиччю, а хутір горів. Скоро увесь великий двір спустів.

Парис стояв серед двору на тім самім місці, дивився незрячими очима на пожежу і плакав кривавими сльозами.

М. Чернявський.

Устань і йди!...

Оповідання.

Цвіли окації. Їх солодкий, наркотичний дух стояв над городом і здавалось, що весь город—і будинки, і паркани, і вся земля—все пахне тим духом.

Молодик прорізався на чистому небі.

Микита Степанович, товариш прокурора, з непокритою головою тихо ходив по тротуару біля своєї квартири перед відчиненими вікнами туди й сюди, і весь він пропахався духом окації, і сам, у свіже-випрасованому чешунчовому піджаку, здався собі квіткою.

Він не звертав уваги на прохожих і навіть трохи злякався з несподіванки, як до його звернувся, близько нахилившись, старий високого зросту чоловік і сказав:

— Вибачте, добродію... Чи не можна у вас повечеряти?...

Хутко збагнувши, що може в їх не стане вечері на зайвого чоловіка, Микита Степанович дивуючи з такого несподіваного прохання, промовив:

— Почекайте хвилинку, я зараз вам скажу,—і пішов у хату.

Через кілька хвилин він ввійшов з хати.

— Заходьте, будь ласка!—сказав він своєму несподіваному гостеві й увів його в хату.

Там уже горіло світло, і жінка й діти Микити Степановича здивовано оглядали гостя.

— Я—подорожній... У вашому городі в мене немає нікого знайомих, то вибачте, що турбую вас,—говорив він, сідаючи біля столу.

Господиня заспокоювала його, що він ні трохи не турбує їх, і взялась лагодити вечерю.

Микита Степанович скоро розбалакався з подорожнім, і якась півсвідома симпатія потягла його до сього старого, бідно вдягнутого, сухого і трохи згорбленого, довговолового чоловіка.

Вони розмовляли про ті місця, де був подорожній, і де бував і Микита Степанович, і про людей з тих місць. Скоро й жінка сіла до їх.

Гість вечеряв не хапаючись, хоч видко було, що він голодний, і як він повечеряв, то Микита Степанович попрохав його ще трохи посидіти, бо йому не хотілось так скоро розлучитися з сією людиною, що так просто і так незвичайно, невідомо звідки, прийшла до його в хату й невідомо куди піде. Його цікавила та таємність, що обгортала гостя: він не говорив, куди він іде і чого йде, і хто він сам такий, і не можна було розібрати, що воно таке за людина, хоч можна було догадуватись, що се людина інтелігентна.

З попереднього свого досвіду, придбаного на посаді слідчого, Микита Степанович був певен, що гість його запевне „не з тих“,—не політичний агітатор, не делегат який-небудь. Але хто і що він?

Коли гість згодився зостатись і знов налагодилась тиха розмова, Микита Степанович, червоніючи з ніяковости й боячись образити свого гостя, спитав, що примушує його на старости літ отак мандрувати по світу.

— Ви простіть мене... Я розумію, що се незручно, але мені хотілось би...—говорив він мов винний.

— А чому ж,—зовсім спокійно відповів подорожній.—Чому ж, я розкажу.

І очі його враз засвітились якимсь внутрішнім вогнем, і обличча освітілось радісною ласкою.

— Колись я жив, як і всі живуть. Жив негарно... темно жив, у темноті душі. Зло проти людей гніздилося у мене в душі, зло проти себе, зло проти всього, в що вірять люде.

Очі подорожнього втупилися в одне місце, усміх промайнув по його обличчу, і він хвилину замислився, немов там десь далеко, за стінами цієї хати, де він сидів, за межами того города, де він тепер був, він бачив своє минуле життя—таке далеке й таке чуже, і в той час таке близьке йому.

— Негарно жив, бо не мав, не чув у душі Бога... І одного разу я намислив собі смерть заповідати. Ліг спати в останню ніч... Тут і трапилося зо мною...

Він увесь мов просвітлів і глянув на Микиту Степановича.

— Бог прийшов до мене.

— Як?—увесь потягчись до подорожнього, прошепотів той.

— Приснився мені сон,—мов у якомусь гіпнозі говорив подорожній.—Бачу я свою батьківську хату...—На покуті під образами сидять покійний батько й мати. Вечір, чи ніч, бо горить лампадка і в хаті сутінь. Я увіхожу в світлицю і всією істотою почуваю, що тут єсть щось надзвичайне. Се чую з усього. Бачу це з повернених до мене ласкавих і спокійних очей батька, якого я так тяжко ображав і з яким ми тяжко ворогували, що і вмер він, проклявши мене і не знявши свого прокльону. Бачу ласкаво-радсні очі матері й починаю розуміти, що з ними єсть іще хтось, хто помирих мене з ними, хто просвітлив їх душі. І я разом здригнувся, глянувши на покутя на образі. І тут сталося чудо: фарби на образі, перед яким горіла лампадка, зворухнулись, мов ожили, і з кіота на мене глянуло живе обличча Спасителя. Живі божеські його очі... Я не можу росповісти вам, які вони були, скажу тільки, що вони пронизали мене всього. І я се почув усим чуттям моїм, і здригнувся... І зараз я бачу ті очі, і завжди і всюди їх бачу ніколи не забуду.

У словах подорожнього було стільки віри, стільки впевнености, що здавалося—він справді й зараз баче перед себе той образ, і вся його істота здригається з жаху й здивування.

Мороз побіг по-за спиною в Микити Степановича, а подорожній, мов у гіпнозі, говорив далі тихо-тихо, мов боячись, щоб привид не розвіявся й не зник від його слів.

— Мовчки дивився Спаситель на мене, але той погляд пронизав усю мою душу, усю глибину моїх таємниць... і осудив мене за життя мое! І я впав, як стояв, і в розпачі заплакав не сльозами, а душею моєю... І тут я почув, що погляд Спасителя зласкавлюється, що мені ще може бути прощення і я, поборовши німоту язика мого, скрикнув: „присягаюсь“ Я заприсягся покаятись у гріхах своїх, стати новим чоловіком. І Спаситель сказав мені:—„Устань і йди!“

— Ті слова Бога мого я зрозумів так: устань, підіймись високо над усім, що приковувало тебе до землі, робило тебе рабом і йди—будь вільним, шукай того, чого душі твоїй треба,

шукай скрізь, по всьому світу, поки життя твого. І я встав і пішов.

Подорожній замовк. І мов зачаровані, з широко розплющеними очима, сиділи Микита Степанович і його жінка й не могли вимовити слова...

— І ось і тепер час іти. Прощайте. Спасибі за хліб, за сіль!...

Подорожній устав з-за столу, перехрестився, стиснув руки господині й господареві дому й пішов з хати.

Микита Степанович пішов за ним.

— Прощайте,—мов у-вісні сказав він, одчиняючи йому двері й застаючись на порозі.

— Прощайте! Спасибі за хліб-сіль!

І як гість зник у прозорій млі ночі, Микита Степанович рвонувся був за ним, щоб покликати його назад. Але подорожнього вже не було видно.

„Хто він такий?“ — питав себе Микита Степанович. — „Невже просто тільки псіх?...—і не міг дати відповіді, і його самого потягло кинути все, забути своє минуле, визволитись душею від усих турбот життя й піти, піти за „ним“, шукати нового життя, нового світу. Піти шукати Бога...

Він стояв на ганку і легкий нічний вітрець обвівав його пахощами й обсипав цвітом окації. І він гостро, десь у глибу душі своєї, почув, що не може піти отак, що в його не стане сили на це, і заплакав.

Цвіт окації падав йому на голову й на плечі і, мов торсаючи, кликав кудись. А він стояв і плакав.

М. Чернявський.



ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ.

З нагоди 45-літнього ювілею наукової і громадянської діяльності.

Присвячує учителєві своєму

Учень.

„Українській діяч XIX ст.—се певного рода мініатюра національного життя України ¹⁾“—ці слова справедливіше буде прикласти до визначної особи В. Антоновича більш, ніж до кого иншого: в протязі усього життя його, з того часу як став він людиною громадською, в його особі, як у люстрі, відбивалися всі події того життя, якого зазнала українська нація за останніх 4—5 десятиліть. Хто здолав би розповісти докладно, в цілості, біографію Антоновича (а цього тепер, крім його самого, ніхто не зробить), той рівночасно подав би нам образ того ліхоліття, якого зазнала українська нація за останніх півстоліття, а найдужче відчували проводирі її—інтелігенція, якої одним з найвизначніших членів був Антонович. Розповісти ж про де-які моменти громадської діяльності високошановного ювілята могтимо дехто з його ближчих знайомих старшого покоління, кому довелося працювати на тій самій ниві та поділяти заразом і тяжкі, й сумні, і радісні хвилини, що випали на долю нашої країни, нашому народові. Коли ж беру на себе сміливість подати перед очі громадянства де-які звістки з громадянського, мало відомого досі, життя Антоновича також і я, один з останніх вже його учнів по університету (з другої половини 90-х років), то до сього спричинилися де-які щасливі обставини. Хоча я й не зазнаю тих часів, коли шановний професор і український діяч дійшов зеніту своєї слави, але мені поталанило кілька років студентського життя мого прожити під

¹⁾ Д-р С. Томашевський.—Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки. У Львові, 1906, стор. 1.

одним дахом з Володимиром Боніфатовичом і через те трохи ближче стати до цеї на диво сердечної, чутливої, простої надзвичайно, та до кожного прихильної людини... Живучи побіч його і мавши щасливу нагоду бачити й чути В. Б-ча не випадково як-небудь, здалека та зрідка, а раз-у-раз, я й користуюсь тепер з того, щоб долучити і свій голос до тих старших і більш од мене тямущих людей, що привітали вже і ще вітатимуть високошановного ювілята. Нехай ці кілька сторінок, що подаю почасти слідом за иншими авторами, почасти на підставі власних споминів та з оповідань самого В. Б., будуть виявом щирої моєї вдячності та признання не тільки як шановному вельми вчителеві, а й дорогій особисто людині, від якої багато зазнав я і науки доброї, й того досвіду життєвого, на які такий багатий наш В. Б. Антонович.

Коротеньке, голе curriculum vitae д. Антоновича таке. Народився він р. 1834 в Махнівцях, бердичівського повіту, в Київщині в польсько-шляхетській родині. Гімназіяльну освіту здобув в 2 одеській гімназії; скінчивши її на 16 році свого віку, року 1850 вступив на медичний факультет Київського університету, який також скінчив, і зараз потім перейшов на історично-філологічний, і р. 1860 вийшов кандидатом історичних наук. Два роки був кандидатом-педагогом (викладав латинську мову) в 1 Київській гімназії, а з р. 1862 і до 1865, з де-якими переривами, читав всевітню історію в Київському кадетському корпусі. Р. 1863 вступив на службу до канцелярії генерал-губернатора, і зразу його призначено до праці у „Временный комитетъ для разбора древнихъ актовъ“, де він того ж таки року досягнув визначну з-за його наукової відвічальности посаду головного редактора Комисії, яку до того обнімав проф. Іванішов. Цю посаду Антонович удержує аж до р. 1882. Року 1870 за дисертацію „Послѣднія времена козачества на правой сторонѣ Днѣпра“ здобув од Київського університету ступень магістра „русской исторіи“, а разом з тим покликано його доцентом на катедру, а р. 1878, по обороні докторської дисертації „Очеркъ исторіи великаго княжества литовскаго“, обібрано його в ординарні професори; з р. 1880 до 1883 був він деканом історично-філологічного факультету, а з р. 1890

став вислуженим профессором і остається членом факультета в характері „заслуженого“ професора й досі.

Уже ці біографічні відомости показують, що д. В. Антонович весь свій вік працював для науки, і справді, заслуги його на цім полі величезні. Ще до того, як мав вступити у „Временну комісію для розбора древнихъ актовъ“, почав він працювати під приводом відомого історика Іванішева, і одразу виявив велику здібність використувати першорядної ваги джерела—архивний матеріял.—Це уміння з'ужитковати матеріяли (архивний чи опублікований уже, або сирий археологічний), глибокий критичний розум та брак якої небудь наперед поставленої собі теорії (за одним виїмком—„Изслѣдованіе о козачествѣ по актамъ 1500—1648 г.“—перша наукова розвідка д. Антоновича, де він, почасти під впливом Іванішова, приступив до аналізу з наперед поставленою собі гіпотезою про постання козаччини і тим вельми собі пошкодив) спричинилися до того, що в українській історії та археології д. Антоновичові по справедливості належить перше місце. І хоч Костомаров, напр., має більший розголос; хоч твори його, як і його і'мя, як історика, значно більше відомі широкому суспільству, особливо російському, ніж і'мя історика Антоновича, та проте це не єсть ще показчик того, що Костомаров справді перевищує Антоновича на полі української чи взагалі руської історії. Костомаров має свої особливі прикмети, які роблять його популярним, приступним: у нього переважає метод дескриптивний, він надає писанням своїм як найбільше драматизму, ефектовності, не клується взагалі про зовнішню форму, не поглиблюючися в предмет, тим часом як для Антоновича ці прикмети зовсім маловарті: у нього натомість бачимо ми більш критики, аналізу, об'єктивизму, більш освітлення подій і з'явищ доби, яку він малює. В його розвідках, чи то історичних чи археологічних, вражає читача гармонія між ідеєю й фактом. Він не дає наперед жадної готової вже думки, яка б проймала оповідання та заставляла б наперед вже дивитися на факти очима автора. Схема його праць дуже проста: після потрібних історичних відомостей та пояснень наступає групування сирого матеріялу (часом додається покликання на друковані джерела),—та й усе. Але ті голі факти мистецькою рукою історика так логично уложено, в такій ясній перспективі, що ідея встає перед вашими духовними очима сама, і не

вважаючи на те, що автор зовсім про читача не дбає, не має на думці спеціальної мети—вражати фантазію та почуття його,—розвідки Антоновича читати дуже легко, і не вважаючи на сухий виклад, вони заставляють читача не тільки *думати*, але й *почувати* та уявляти собі час, події й людей, про які в них іде мова.

Основним мотивом усіх історичних праць Антоновича (за деякими лишень виїмками) єсть протиставлення двох чинників: утвореного польським життям та історією чинника шляхетно-аристократичного і утвореного руським (українським) народом—демократичного. Дійсно, вся історія правобічної України („південно-західного краю“—по офіційній термінології) є не що інше, як боротьба цих двох чинників ворожих між собою постійно, яких помирити жодним способом не можна, і в боротьбі між ними, на протязі цілих чотирьох віків, перемагає то одне, то друге, надаючи, в залежності од того, чія перемога буває, іншої закраски певному історичному моментові... Д. Антоновичові довелося почати свою громадську—спочатку, а далі й наукову працю саме в такий історичний момент, коли вже історія склала рахунок тій боротьбі. Але перш ніж рахунок той було підписано і віддано до історичного архіву, д. Антонович, що належав з походження свого до одної сторони (польсько-шляхетської), а діячем довелося йому виступити на користь другої (української), порвавши усякі звязки з першою,—азнав мимоволі наслідків тієї віковичної боротьби, і наслідки ті відбилися на ньому так нещасливо, що він залишив громадську діяльність та присвятив себе науці. Але за те Україні пощастило придбати собі вірного сина та чесного робітника, праця якого значить для неї більш, ніж—праця десятків та сотень інших кривих її синів.

Про початок громадської діяльності д. Антоновича та про відношення до того польського табору ми знаємо найбільш, дякуючи тому, що справу цю свого часу освітив сам д. Антонович та товариш його Т. Рильський в „Основі“.

Д. Антонович був з походження членом польсько-шляхетської родини, осілої на Україні. Змалечку він чув од своїх, що усі люде, які оточають його, поділяються на дві цілком протилежні групи: панів—і „бидло“, „хлопів“... Він бачив, підрастаючи,

що не саме тільки станове та економічне становище стає основою такого поділу, але культура, віра і національність з усіма її придатками. Одна група живе, говорить і молиться по-панські, друга—по „хлопську“. Станова різниця не розрізняється од різниці національної та релігійної... І не звичайна етнографічна різниця та відчуження існує між цими двома групами, але взаємне презирство та ненависть, утворені давнішою історією... Такі відносини були між селянством та дворянством в Правобічній Україні: був пан (поляк) і хлоп—бидло,—*tertium non datur!* Питомої української інтелігенції не було; російське дворянство, яке завелось тут після польського повстання, переважно не живе в своїх маєтках, та од того й не велика шкода для селян; сільське духовенство—в незручних економічних відносинах до народу, та само воно по духу далеке од селян, бо вже помазане панською культурою. Допомоги українському народові—ні звідка! Польське дворянство (шляхта) визнавала свої власні ідеали та шляхетсько-католицькі упередження, бокувало од Росії, в якій бачило один лишень варваризм, виставляло в противність їй свою ніби то культуру... Але дух часу не минув і цих консервативних кругів, і так, чи інак і там відбився,—з'являються в 30—40 р.р. „балагульщина“, „козакофільство“,—з напрямком цілком поверховим, але безперечно демократичного характеру: перше—це наслідвання одягу простих людей та звичок його, а друге—напрямок літературний: шляхетсько-польське ідеалізування українського козацтва,—і той ідеалізм викликав цілу козацько-польську літературу. Але це ще були невинні забавки панства демократизмом. При кінці р.р. пятидесятих і на початку шестидесятих, з початком всеросійського визвольного руху, демократичні ідеї захопили інтелігенцію правобічної України досить глибоко,—з'явилася молода партія, яку вороги охрестили прізвиськом „хлопоманів“. Хлопомани широ спочували гіркій долі українського люду, розуміли, що становище його потрібно полегчити, що треба поважати той народ, бо він перестав бути в очах їхніх „бидлом“, яким він був в очах шляхти; розуміли, що треба його вчити і вчити його мовою. Ідеї їх справді були високі та гуманні, але ті, що визнавали їх—були дітьми батьків своїх: вони ладні були пожертвувати частину свого традиційного „я“, своє шляхетство, але цього було мало: або віддай все своє „я“, або краще не треба нічого! Як „хло-

помани“ не намагалися погодити одне з другим: панство і польськість із українством, але практичних наслідків з того не могло бути ніяких,—дальш порожніх мрій на соціальні та політичні теми вони не змогли піти. Але між тією „хлопоманською“ молодю знайшовся гурток людей, який зрозумів і наважився поглянути на справу ясними очима. Він зрозумів, що він мусить, або зречтися працювати для українського люду, або—перескочити через останній рів, що відділяє його од народу,—зречтися ворожої та ненависної цьому людові національності. На чолі того гуртка і стояв Антонович, що був тоді ще студентом. Цей перший виступ його на поле громадської діяльності для його особисто був подією великої ваги, тією переломовою хвилиною, що кидає свій слід на ціле життя чоловіка і освітлює йому шлях до правдивої мети. Подія та коштувала йому не дешево: не мало довелось йому через неї крові й нервів попсувати, а за те вона дала українській нації визначного діяча, який увесь вік свій, не покладаючи рук, служив їй, придбавши тим собі певне місце в пантеоні діячів українського відродження.

От як малює нам суть поглядів того гуртка один із його членів, небіжчик Тадей Рильський. „Ці люде „хохлоmani“, виїшовши з української споляченої шляхти та роблячи досліди над минувшиною місцевого життя й сучасними його потребами, дійшли до зрозуміння своєї національної солідарности з місцевою українською людністю і вважають інтереси його найближчими собі інтересами. За найголовнішу річ в своїй громадській діяльності вони вважають просвіту народню на його рідних основах, розвиток громадського життя, і в цьому напрямі працюють, роблячи це спокійно й систематично. На них нападаються (пансько-шляхетські групи в правобічній Україні), обзиваючи їх погляди та діяльність національним одступництвом, але вони на це відповідають, що це тільки вихід на праву путь; що той, хто хоче справді бути користним для якого-небудь громадянства, не може лишатися в ролі колониста, що працює на користь метрополії, що уся їхня праця відповідає місцевим простонароднім інтересам, які вони беруть за вихідну точку усіх своїх погледах“ („Основа“, 1861, XI—XII, 99).

Не лехко прийшлося тому гурткові тоді. Те громадянство, якого вони зречлися, повстало на їх, сиплючи прокльони та обви-

нувачення, а того й не хотів ніхто розуміти, як важко їм зважитись було на те „одступництво“, скільки треба було на те моральної відваги та прихильности до свого ідеалу та любови до покривдженого народу. Дорікали Антоновичеві чимало і в літературі, і це примусило його виступити з відомим символом своєї віри— „Моя исповѣдь“ („Основа“, 1862, I), який він опублікував, сподіваючись, що сим хоч „трохи, може, пособить цілій групі людей з'ясувати своє становище в південно-західньому краї“. Ось що він там між иншим каже:

„Да, г. Падалица (письменник шляхетського напрямку, що обертався до Антоновича з друкованою полемикою і між иншим докоряв його за зрадництво), вы правы! Я перевертень, но вы не взяли во внимание одного обстоятельства, именно того, что слово „отступникъ“ само по себѣ не имѣетъ смысла, что для составленія себѣ понятія о лицѣ, къ которому приложеноъ этотъ эпитетъ, надо знать, отъ какаго именно дѣла человекъ отступился и къ какому присталъ,—иначе слово это лишено смысла—оно пустой звукъ. Дѣйствительно, вы правы. По волѣ судьбы, я родился на Украинѣ шляхтичемъ, въ дѣтствѣ имѣлъ всѣ привычки паничей и долго раздѣлялъ всѣ сословныя и національныя предубѣжденія людей, въ кругу которыхъ воспитывался. Но когда пришло для меня время самосознанія, я хладнокровно одѣнилъ мое положеніе въ краѣ, я взвѣсилъ его недостатки, всѣ стремленія общества, среди котораго судьба меня поставила, и увидѣлъ, что его положеніе нравственно безвыходно, если оно не откажется отъ своего исключительнаго взгляда, отъ своихъ заносчивыхъ посягательствъ на край и его народность. Я увидѣлъ, что поляки-шляхтичи, живущіе въ южно-русскомъ краѣ, имѣють передъ судомъ собственной совѣсти только двѣ исходныя точки: или полюбить народъ, среди котораго они живутъ, проникнутыя его интересами, возвратиться къ народности, когда-то покинутой ихъ предками, и неуспыннымъ трудомъ и любовью, по мѣрѣ силъ, вознаградить все зло, причиненное ими народу, вскормившему многія поколѣнія вельможныхъ колонистовъ, которому эти послѣдніе за потъ и кровь платили презрѣніемъ, ругательствами, неуваженіемъ его религіи, обычаевъ, нравственности, личности;—или же, если для этого не хватитъ нравственной силы, переселиться въ землю польскую, заселенную польскимъ народомъ, для того чтобъ не

прибавлять собой еще одной тунеядной личности, для того чтоб наконец избавиться самому передь собой отъ гнустнаго упрека въ томъ, что и я тоже колонистъ, тоже плантаторъ, что и я посредствомъ или непосредственно (что, впрочемъ, все равно,) витаюсь чужими трудами, заслоняю дорогу къ развитію народа, въ хату котораго я залѣзъ непрошенный, съ чуждыми ему стремленіями, что и я принадлежу къ лагерю, стремящемуся подавить народное развитіе туземцевъ, и что невинно раздѣляю отвѣтственность за ихъ дѣйствія. Конечно, я рѣшился на первое, потому что сколько ни былъ испорченъ шляхетскимъ воспитаніемъ, привычками и мечтами, мнѣ легче было съ ними разстаться, чѣмъ съ народомъ, среди котораго я выросъ, который я зналъ, котораго горестную судьбу я видѣлъ въ каждомъ селѣ, гдѣ только владѣла имъ шляхта,—изъ устъ котораго я слышалъ не одну печальную, раздирающую сердце пѣсню, не одно честное, дружественное слово (хоть я былъ и паничъ), не одну трагическую повѣсть объ истлѣвшей въ скорби и безплодномъ трудѣ жизни... который, словомъ, я полюбилъ больше своихъ шляхетскихъ привычекъ и своихъ мечтаній. Вамъ хорошо извѣстно, г. Падалица, и то, что прежде чѣмъ я рѣшился разстаться съ шляхтой и всѣмъ ея нравственнымъ достояніемъ, я испробовалъ всѣ пути примиренія; вы знаете и то, какъ были съ вашей стороны встрѣчены всѣ попытки уговорить вельможныхъ къ человѣческому обращенію съ крестьянами, къ заботѣ о просвѣщеніи народа, основанномъ на его собственныхъ національныхъ началахъ,—къ признанію южно-русскимъ, а не польскимъ того, что южно-русское, а не польское; вы были, вѣдь свидѣтелемъ, какъ подобныя мысли возбуждали вначалѣ свистъ и смѣхъ, потомъ гнѣвъ и брань и, наконецъ, ложные доносы и намеки о коліивщинѣ. Послѣ этого конечно, оставалось или отречься отъ своей совѣсти, или оставить ваше общество;—я выбралъ второе и надѣюсь, что трудомъ и любовью заслужу когда-нибудь, что украинцы признаютъ меня сыномъ своего народа, такъ какъ я все готовъ раздѣлить съ ними“.

Я навмисне подав чималий витяг з цієї сповіді, бо вона нам дає ясно зрозуміти, які мотиви керували молодим Антоновичем та його товариством, коли вони рішуче одсахнулася од польсько-шляхетського табору і стали в лави українських діячів... З неї ж ми

бачимо, що молодечі сподіванки В. Б. на те, що Україна колись може оддячить йому за невпинну працю на користь українському народові, не зрадили його, і імя Володимира Боніфатовича записане назавжди на скрижальх мученицької долі українського народу.

В. Б. згадує в своїй „Исповѣди“ про те, що його „еретицькі“ думки викликали нарешті брехливі доноси й натякання на колівщину; а крім того відомо, що трохи згодом, незабаром після польського повстання, видано було у Вильні брошюру одного з обрусителів півдонно-західного краю, у якій він каже, що шляхта польська на судових допитах свідчила, ніби то вони пристали до повстання через те, що боялися хлопоманів, Антоновича та Рильського, які хотіли підбурити народ та перерізати їх, дворян. Ми вже тільки що бачили, через що властиво польська шляхта важким духом на Антоновича дихала та вигадувала на нього усе, що тільки вигадати може сліпа злоба та безсила помста, одначе ці брехні та доноси тяжко відбивалося на Антоновичеві й довго були причиною великих неприємностей для його самого, і для всіх тих, що так, як і він, думали й робили. Крім усяких набрихувань та поклепів в літературі та пресі, розлучене панство вживало проти їх ще й більш радикальних заходів. Пригадую, з оповідань самого В. Б., такий епізод.

Шляхетно - польське „дворянство“ перед повстанням мало право вибирати своїх людей на де-які уряди адміністративні та судові. З'їхавшись в-останнє на дворянські вибори (р. 1860), воно покликало до суду шляхетського—Антоновича й де-кого з його товаришів, маючи в руках дуже великої, як їй здавалося, ваги документ—власноручний листок—програму, *profession de foi*, того гуртка, чи взагалі тих людей, що разом з Антоновичем одстали од польсько-шляхетського громадянства та пристали до українства. В листку тому, як на наші часи, були дуже звичайні речі: говорилось про толеранцію до всякої віри, до всяких націй, про те, що українці повинні мати право на існування нарівні з иншими національностями,—одне слово, те, що ми бачимо в „исповѣди“ Антоновича. Але в цій невинній програмі шляхта побачила велику небезпеку для себе і взагалі для спокою в країні. І от привідцю (Антоновича), разом з иншими людьми його гурту, повлито до шляхетського суду, обвинувачуючи їх в „атеїзмі“ та знищенню польської нації. Та судді ті такі вбогі на розум були,

що збити їхні обвинувачення не великих заходів потребувало. Посилаючись на текст програми, що була в руках у суддів, Антонович усі накручування розпорошив, хоч як панове судді намагалися цілком ясні слова на щось злочинне повернути. Серед суддів був один учений чоловік—Бобровський, який прямо сказав, що він навіть дивується з того, який напрям узіяла судова комісія. Антоновича виправдано, але під умовою, що зречеться усього того, що написав у програмі. Певна річ, на це він не пристав. „В такому разі,—заявили судді,—вас чекає багато неприємностей!“ „Що ж,—буду терпіти!“—одповід на це Антонович.

І справді, не багато минуло часу, як на Антоновича, як з мішка, посипалися доноси. Антонович тоді (року 1860) був учителем, на посаді на-пів коронній, на-пів приватній (кандидатом-педагогом по латині в 1-й гімназії). Про доноси на себе довідався він аж ад свого начальства, куратора, відомого Миколи Пирогова. „Що ви таке нарobili десь там, їздячи по селах, що на Вас стільки доносів вже есть?“ (А доносів було не трохи, не багато—аж 43). Вас обвинувачують, що Ви різанину Поляків проповідуете, та инше!“ Антонович розповів йому всю справу, через що його особою шляхетство так пильно цікавиться. Дійсно, при кінці 50-тих років, ще як Антонович та Рильський студентами були, то кожного літа, скоро скінчаться в університеті виклади, звичайно в місяці квітні, купували вони гуртом (утрох, вчотирьох) конячку та воза й об'їздили українські села—спеціально з етнографічною метою, щоб на власні очі побачити життя селян, мало відоме їм, вихованим були в шляхетських родинах. За кілька таких подорожів вони об'їхали Київщину, Поділля та Волинь, частину Бесарабії, Катеринославщини, Харківщини та Херсонщини і справді нічого на думці не мали, крім близкого ознакомлення з життям та побутом українського селянства. Отсі от подорожування й були сілью в оці шляхті, і вона без найменшого вагання вигадувала, щд тільки могла постачити їм багата їхня фантазія: і підбурювання селян, і проповідування різанини на поляків, і знищення католицької та й усякої взагалі віри, і т. и. Усім тим обвинуваченням дано, як то кажуть, „законний ход“. Антоновича і ще 17 осіб покликано в спеціальну комісію, цим разом не шляхетську вже, а просто жандарську. Головою тії ко-

мисії був такий собі Андрієвський ¹⁾. Цей Андрієвський, треба признати, був чоловік людяний і, ставлячи запитання, уважно вислухував і записував те, що відповідано йому, не чіпляючись до людини з доброго дива. Зовсім инакше поведився другий член комісії жандар Грибовський (поляк), який через кожних кілька хвилин стереотипно додавав: „а все-таки, щò ви не кажіть,—я вам не вірю: ви таки проповідували різанину, а тепер викручуєтесь!“ А то ще один із членів комісії ще на хитріші способи брався: коли Антонович давав відповіді, він раптово перебивав його і зненацька запитував: „а хто у вас председателем був?“ Тобто несподівано спіймати хотів... Антонович мусів попросити голову комісії, щоб той заборонив цим занадто цікавим добродіям перебивати його та заважати йому тоді, як він обдумує відповіді на поставлені запитання. А запитань тих було мабуть не трохи, коли допитувались його з 10 години ранку та аж до ночі. Коли Андрієвський узявся нарешті до того, щоб з-вести до-купи увесь матеріал, то побачив, що з цієї справи нічого не можна витягти й залишив її. Антоновича проте віддано під догляд поліції.

Як відбивався на Антоновичеві догляд той—про це може свідчити такий випадок. Одного разу Антонович та Рильський поїхали до товариша свого на село на кілька день. Не встигли вони туди прибути, як уже пристав довідався про них і, ніби за якоюсь дрібненькою справою, з'явився до того добродія, що в його вони гостювали. Приїхав та й сидить... Куди гості, туди і він за ними. Бачать гості, що неперелівки,—кажуть хазяйнові, що завтра мають вже назад їхати „А, їдете? то й добре!“—додає пристав, і заспокоюється. Через якийсь час довелось Антоновичеві бути у одного знайомого лікаря, а до того лікаря вчашав той пристав, і не знаючи про знайомість лікаря з Антоновичем, розповів йому про свою пригоду. „Маєте, одібрав я звістку, що в село Х. приїхало два революціонери... Я вже знаю, щò то за люде!... Узяв 10 поліцейських, приїхав туди, сховав їх у повітці, а сам пішов до хати, щоб їх арештувати. І уявіть собі, щò я побачив? Я сподівався стрінуги людей здорових, грубих, а бачу—один ле-

¹⁾ Здається, той самий Марк Андрієвський, чиновник генер.-губернатора Васильчикова, який р. 1859 розбiрав справу про Шевченка (по доносу панків, що ніби Ш. „богохульствовав“) і виправдав його.

жить на ліжку й труситися (Рильський був тоді хворий і справді лежав на ліжку, укритий кожухом, бо його трясла пропасниця), а другий—малого зросту, тихо говорить і ввічливо поводитьися!“

Серед таких обставин довелося розпочати громадську й наукову діяльність В. Б. Антоновичеві. Досить сказати, що за перші три роки після віддання його під поліційний догляд, його тягано аж 12 раз на допоти. В ці прикрі для нього особисто часи в київській „Комісії для розбора древних актів“ бракувало людини, яка б керувала роботою комісії. Проф. Іванішев, що був головним редактором її видань, виїхав у Варшаву, і М. Юзефович, голова комісії, звернувся до В. Б., про якого він чув, як про людину талановиту, працьовиту і до такої роботи здатну. Він ото й покликав В. Б-ча в комісію, і літ із 6 чи з 7 його вже не чіпали, бо Юзефович, який тоді велику силу мав, умів усякі гострі стріли на В. Б. на бік одвернути. Так було аж до часу, на початку 70 років, коли Антонович, разом з іншими, заходився коло засновання „Юго-Западного Отдѣла Императорскаго Географическаго Общества“, що, під прапором етнографії, мало на меті з'єднати до наукової роботи всі українські сили.

Але попереду ніж про це оновідати, вернуся ще раз до часів студентства В. Б. Антоновича, щоб коротенько переказати те, що довелося мені чути про участь його в першій студентській українській організації. Засновано її було при кінці п'ятидесятих років, і спершу до неї пристало не більше як з 6—7 чоловіка. Цікаво буде довідатися, як вона засновувалася. Прочули якось Антонович та Рильський, що в інтернаті університетському єсть один чудний чоловік—Микола Ковалевський (не Мих. Вас., що після відомий був своїми зносинами з Драгомановим, а інший), який, була поголоска, об'являє себе українським імператором. Розшукали цього оригінала. Певна річ, ніяким імператором він себе не об'являв, а був просто свідомий українець, чи, як тоді казали, „українофил“: він домагався, щоб була українська школа, українське урядовання (автономія) і т. и. Згодом почули, що єсть в тому ж таки інтернаті ще якийсь Панченко, про якого слава пішла скрізь, що коли до нього прийшли з села прості мужики, його батько та мати, то він з великою пошаною їх зустрів, свого мужицького роду не соромлючись. Приєднали до гурту і Панченка. Далі пристав до його ще студент Пантюхов (живий ще й те-

пер), Яценко,—от і склався студентський гурток, який незабаром так розрісся, що налічував 300—400 чоловіка. Були в тому гурті і Драгоманов, і П. Жітецький, і Білозерський, і Єфименко й Чубинський; українська громада у Києві зросла так на силах, як ніколи, навіть опісля. Але вже року 1862 почався занепад. Тоді вислано в Архангельщину Чубинського, де-хто з громадян притаївся, боячись репресій, інші скінчили університет і розійшлися по світах, по посадах усяких поосідали,—лишився знову невеликий гурт людей, мало чим більший од первісного. До того ж трапилася ще сумна пригода і в середині громади: скарбівничий В. Юзефович (син Михайла), прибравши до рук громадську касу, кудись із нею зник. Пропали усі кошти громадські—рублів може 400—500, щό як на ті часи і для таких людей незаможних, з яких складалася громада, був гріш не аби-який. Через брак грошей мусили спинитися усякі справи громадські. А як тяжко збивалася копійка до копійки, щоб громадську касу побільшити, можна бачити хоча з того, що В. Антонович, який мав славу доброго циркульника, стриг і голив товаришів і з кожного брав по 3 коп. в громадську касу, а на иншого, як дуже вже патлатий був, то ще й додатковий податок накладали.

Ця студентська громада, в якій В. Б. безперечно грав визначну роль, для української справи дуже у великій послuzі стала. Вже досить того, що вона виховала в своєму гурті багато відомих українських діячів,—як ото вище згадані,—що поставили вперше на науковий ґрунт українське питання і значно поглибили його та назначили стежки, якими вже дальшим поколінням лекше було йти.

До громади київської зверталися часом українці і з инших міст. Так при кінці р. 1862 приїздив і бував у громаді Куліш, на якого тоді молодь прямо таки молилася, але він під час свого приїзду розчарував усіх. Почалося з того, що він став ляяти Білозерського, що з того, мовляв, і редактор нездатний, і що „Основу“ треба припинити та розпочати діло на-ново, засновавши новий журнал. На це йому одповідали цілком раціонально, що поки немає нового журналу, не можна кидати того, що вже єсть, а В. Б. не вдержався і закинув йому згаряча, що це, мовляв, не гарно поводитися так з своїми приятелями. „У мене друзів немає: у мене всі або вороги, або „захребетники!“—одказав на це Куліш“.

Окрім наукової праці, дуже продуктивної й цінної, яку провадили члени громади, де-які з них, як В. Б., В. Беренштам та інші, працювали і практично—по „воскресних школах“, яких у Києві заведено було аж кілька. Між иншим вони завели були, так звану, 7-класну школу, де вчили по українськи; інші члени працювали по недільних школах, де теж учили українською мовою.—Усе це не могло, певна річ, таємницею бути для тих, кому не слід було про те знати, а особливо, коли ще де-хто, як напр., В. Б., був і під доглядом поліції.

Особливо ж прикрі часи для усього громадянства, і для В. Антоновича спеціально, настали після польського повстання, після того, як Каткову та товариству його поталанило видати і щасливо „пустити в оборот“ український „сепаратизм“, і цю дуже зручну етикетку наліплювати кожному українцеві, який більш-менш отверто заявить себе діяльним українцем. Розуміється, усіх „основян“, (що брали участь в журналі „Основа“, яка перестала виходити з кінцем р. 1862), а між ними і д. Антоновича, зачислено було до людей вельми небезпечних, „сепаратистів“, що тільки й думки мають, щоб одірватися од Росії... До старих обвинувачень та переслідувань В. Антоновича за відступництво од польської нації, тепер ще прилучається нове обвинувачення, вигадане тими, кому з тієї вигадки могла якась користь статися... Очеvidно, що про якусь ширшу, показніщу громадську діяльність годі вже йому було й думати—лишилося одно поле, на якому можна було працювати—поле науки. І В. Антонович виявляє надзвичайно велику продуктивність, обдаровуючи українське громадянство вельми цінними історичними працями, збагачуючи небагату українську історичну науку вельми коштовними працями, які і зараз, і багато літ ще згодом матимуть першорядне значіння. За двадцять літ редакторства в „Комісії для розбору древних актов“ В. Антонович видав 13 великих томів Архива Юго-Западної Росії (а всіх за 50 літ існування Комісії вийшло лишень 25), і з цих тринадцяти—7 його власного видання, а 2 видано із його збірок ним же пізніше. Та крім такої живої і плодотворної участі у виданню „Архива“, В. Антонович зредагував також три окремих видання цієї ж Комісії—збірники літописів. До кожного тому „Архива“ долучено розвідку на підставі того матеріалу, який в ньому міститься. Таким чином, за час свого редагування, Анто-

нович написав 7 коштовних праць, які хронологично ідуть так: „Ислѣдованіе о козачествѣ по актамъ 1500—1648“ (1862—3), 2) „О происхожденіи шляхетскихъ родовъ въ юго-запад. Россіи (1867); 3) „Послѣднія времена козачества на правой сторонѣ Днѣпра“ (1868),—за цю працю дістав він степінь магістра „русской“ історіі, 4) „Ислѣдованіе о городахъ въ юго-западной Руси (1869), 5) „Акты объ экономическихъ и юридическихъ отношеніяхъ крестьянъ въ XVIII в.“ (1870); 6) „Акты объ уніи и состояніи православной церкви съ половины XVII в.“ (1871); 7) „Ислѣдованіе о гайдамачествѣ“ (1876). Пізніше багато, аж р. 1902, В. Антонович написав ще розвідку до тому „Архиву“ з актами „О мнимомъ крестьянскомъ возстаніи въ юго-западномъ краѣ въ 1789 года.“

Але працюючи въ „Комиссіи“, В. Антонович не обмежувався тільки студіюванням архивних джерел. Рівночасно він брав участь по всяких наукових виданнях, містячи праці історичні, археологічні та етнографічні, напр.; в „Записках“ і „Трудах ю.-в. Отдѣла Географ. Общества“, „Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ“, „Кіевской Старинѣ“, „Кіевлянинѣ“ (під редакц. Шульгина), „Древностяхъ Москов.-Археол. Общества“, „Трудах“ археологічних та антропологічних з'їздів, „Чтеніяхъ Общества Нестора Лѣтописца,“—якого навіть головою він був не один год,—„Кіев.-Губ. Вѣдомостяхъ“ та инш. Найвидатнішою працею з тих давніших часів була „Очеркъ історіи великаго княжества литовского“ (1877), за яку він здобув степінь доктора „русской історіи“. Праця ся виходить по-за межі української історіі власне через те, що доведено її лишень до смерті Ольгерда, і дальшої частини, до Люблинської унії, йому так і не довелося написати.

Тоді ж таки, на початку наукової своєї діяльності, В. Антонович почав займатися й археологією, якої дослідник давніх часів—передісторичних та князівських—не міг обминути. Особливий інтерес до археології прокидається у В. Антоновича на початку р. 1870-их, і р. 1871 він уже виступає в Петербурзі на ІІ археологічному з'їзді з рефератом про українські могили (кургани). З того часу ні один археологічний з'їзд, особливо як що він відбувався на території України, не минав без того, щоб В. Антонович не узяв в ньому найжвавішої участі. Але крім участі в з'їздах, В. Антонович публікував багато розвідок, статтів та замі-

ток по всяких інших періодичних виданнях на підставі численних своїх розкопів та обслідування иншого археологічного матеріяла, що дотикається України, але аж до кінця 80 рр. він лишень збирає матеріял, який використав пізніше в солідних розвідках (згадаймо хоча б археолог. карти Київщини та Волині) і тими працями своїми посунув науку археології української так, як ніхто инший до нього і ніхто досі після нього. Власне кажучи, до Антоновича української археології, як науки, не істнувало зовсім; були лишень скромні спроби, почавши з митропол. Євгенія, Фундуклея, Іванішева, Максимовича, але про ширше ознайомлення з роскиданим скрізь матеріялам, про якусь класифікацію його, та про можливість через те в ширшій мірі користуватися ним для історичних праць—не могло бути й мови. Д. Антоновичеви довелося самому прокладати стежки на цьому непочатому полі, і заслуга його і тут величезна: його працею українська археологія зайняла серед инших галузей науки в Росії поважане місце, а для дальших дослідників української старовини одкрито нові перспективи.

Не можна також поминути видатної праці д. Антоновича історико-етнографічної, зробленої їм разом з Драгомановим,—„Историческія пѣсни украинскаго народа“,—яку критика і громадянство високо оцінували та яка й зараз, через 30 літ після написання, має таку саме велику ціну.

Я зазначив тільки найголовніші,—можна сказати, епохальні—моменти наукової діяльності В. Антоновича, не згадуючи про численні вельми цінні инші праці історичні та археологічні. Можна лишень дивуватися з надзвичайної працьовитости та продуктивности В. Антоновича, не зважаючи на ті обставини, які дуже не сприяли взагалі якій небудь праці та часом загрожували навіть спокоеви та пробуванню Антоновича в рідному культурному осередкові України... Варто лишень взяти на увагу, що досить було попасти в неласку, напр., якомусь генерал-губернаторові Черткову, що правив Україною в другій половині 70-рр., і ніякі наукові, хоча б і всевітні заслуги—нічого не допоможуть.

Цей „муж доблестний“ зробив собі чималий список людей, так званих „українофілів“, і як породу людську вельми, на його погляд, шкодливу, поклав собі викоринити в своєму „князівстві“. А щоб справа була цікавіша, сполучив усих „українофілів“ в

одну купу, вигадав „Коммунистическое сообщество“ в Київі і заходивсь його винищувати. Усе, що тільки якийсь шпиг вигадував, чи почув щось п'яте через десяте, усе те списувалося до-купи, на підставі тих матеріялів укладалася цікава біографія данної особи й заводилася в не менш цікаву книгу—так званий „Политическій романт“. В тому „романі“ кожна дієва особа, чи то пак—герой, мали свою „главу“, і Володимерові Боніфатовичу невідомі автори, спільними силами, присвятили главу на три картки. Роман той мав ще ту познаку, що кінець кожної „глави“ в ньому бував звичайно сумний. Такого кінця мало не зазнав і В. Б. Антонович.

Одного разу куратор округа, також на прізвище Антонович, тільки генерал, кличе В. Б. до себе й заявляє, що так і так: прикра, мовляв, річ,—генерал Чертков просить його скинути з посади приват-доцента Антоновича. „Правда,—я цього зробити не маю права, бо це компетенція міністра. Але хіба од того вам буде легше?“ Почали міржувати, що його діяти. Куратор порадив В. Б. поїхати до Черткова, дозволивши сказати, що це він прирадив йому завітати до нього. В. Б. поїхав. Чертков сидів в кабінеті за столом, але, почувши, хто й за яким ділом приїхав, схопився з місця й почав ходити по хаті,—на те, певне, щоб не довелось попросити В. Б. сідати. „Ваша особа мені надоїла!“...—„Я тому не винен“.—„Ви робите паганій вплив на молодь! А найбільша ваша провина та, що Вас не спіймаеш ні на чому!“—На це В. Б. одповів так, що, коли немає на чому ловити, то не диво, що й не вловлено. „Ну, ми з вами ні до чого не добалакаємось!“—і на тому авдієнція скінчилася.

Всю цю розмову В. Б. переказав кураторові. „Знаєте що? Йому (Черткову), очевидно, не бажано Вас бачити перед очима... Ви ще ніколи не були за кордоном?“—„Ні!“—„То їдьте на год за кордон,—я Вам і відпустку дам!“...

Бувши людиною живою, громадською, В. Б. Антонович був не сухим лишень кабінетним ученим, для якого сучасне життя не цікаве, але раз-у-раз брав участь у всяких визначних полях громадського життя, скільки воно дотикалося українства, ніколи не ухиляючись од громадської роботи ні за-молоду, ні навіть останніми роками, хіба вже тоді тільки, як недуга примусила його пильнувати власного здоров'я й залишити мало не всяку діяльність

громадську й наукову. Що В. Б. був діяльним членом студентської організації, яка згодом перетворилася в таку звану „Стару громаду“, про це вже у нас була мова. Про один епізод з громадської діяльності В. Б. видруковано недавно документ в журналі „Былое“ ¹⁾, де поміщено витяг з досліду („дознання“) Київської жандармерії з 9 січня 1879 р. Як звичайно, в таких документах, зачерпнутих з каламутних джерел—з усяких непевних звісток, зібраних шпигами,—помішано крихту правди з чистісінькими вигадками. В тому „донесенні“ оповідається, що в другій половині грудня р. 1878 щось із 15 осіб, відомих з своїх противоурядових, „конституційних“ поглядів, що-дня збиралися в одному будинку на Подолі. На ці збори запрошено заступників усяких соціально-революційних партій, між иншим проф. Київського університету Антоновича, учителів Київської військової гімназії Павла Житецького і Беренштама та инш., які приходили, щоб обстоювати свої теорії проти пропозиції „конституціоналістів“ разом виступати в напрямі конституції... З'їзд групи конституціоналістів склався переважно з земців, серед яких переважали Чернігівські земці, а серед них особливо визначався якийсь Лінденс чи Ліндеєс“... Правда в цьому тільки те, що справді у Києві на Подолі (в будинку графині Паніної, додаю од себе) зібрався при кінці р. 1878 з'їзд земців конституціоналістів, серед яких був і Ліндфорс (з Чернігівщини), Петрункевич та инші. В. Антонович, П. Житецький та В. Беренштам були там представниками Київської української громади, якій хіба тільки жандарми могли закинути обвинувачення в революційності, і радилися про спільну роботу і про план діяльності, в якій би взяли участь і українці. Та на тих нарадах ні де чого сталого не договорилися та так і роз'їхалися.

До речі сказати, що до Київської громади в ті часи, коли громадянство було прокинулось і сподівалося, що от-от незабаром настане зміна політичного ладу в Росії, вдавалися й инші російські організації,—між иншим і відома „Земля і Воля“. Представником од неї для пересправ з Київською громадою тодішньою був д. Козлов (згодом професор філософії в Київському універ-

¹⁾ 1906, № 4, стр. 309.

ситеті), але, коли В. Б., балакаючи з ним, запитав його, який погляд землевольці мають на справу української автономії, то д. Козлов одказав: „мы этого не потерпимъ“. Певно, що пересправи на тому урвалися.

Взагалі тяжко було б перелічити усі ті визначніші навіть громадські події та справи, в яких більшу чи меншу участь брав В. Б-ич. Можна тільки з певністю сказати, що ніяка мабуть справа, коли тільки вона була чимсь важна або доторкалася якогось більшого гуртка українців, не минала без того, щоб в їй не брав участі, не дав допомоги чи поради В. Б-ич, і завжди з надзвичайною скромністю, ніколи не висовуючи своєї особи наперед. Пригадую, що, коли ми, студенти, попросимо бувало його дати і свій підпис під якоюсь адресою, то В. Б. завжди підпишеться десь у куточку, позад усіх... Коли треба було зібратися гурткові людей, чи то щоб в невеликому товаристві одсвяткувати роковини смерті Шевченка, чи так зійтися „в клуб“, послухати якогось реферата, поспівати та послухати музики, і коли не доведеться урядити вечірку десь в іншому місці, то зараз до В. Б-ча, і він не тільки не зрікається бувало перетерпіти увесь той клопіт в своїй хаті, але ще й бере живу участь в „клубові“... Попросить, знов, гурток якийсь, щоб прочитати для нього лекцію,—чи з історії, чи з етнографії, чи археології (останню, звичайно, показуючи збірку археологічну в університетському Музеї), і В. Б-ич завжди охоче згодиться на те, а часом то читає цілу серію лекцій з якої-небудь парости знання, не вважаючи на неприємности для себе з боку поліції, яка всякі більші збори, звичайно, переслідовала і часом то й до протоколу винуватців заводила. З такої серії лекцій, читаних приватно, склався і єдиний до останніх часів нарис історії козаччини „Бесіди про часи козацькі“, записаний слухачами і виданий в Чернівцях. Коли під час XI археологічного з'їзду сталася голосна ганебна подія—заборона галицьким ученим вишладати на з'їзді праці своєю мовою українською, хоча галичан поперед було покликано,—В. Б. узяв участь в полеміці, в обороні українства, і виступив в „Кіевской Старині“ з статкою, в якій виявив закулісні ходи усяких темних сил, як от Флоринський та інші, і разом з тим дуже влучно з поважною аргументацією збив усі доводи contra—того ж таки проф. Фло-

ринського, що почав був кампанію проти українства в Пихновому органі „Кіевлянинъ“.

Як людина „духа жива“,—не мертвий, сухий дослідник, що по-за науковою працею своєю нічого не чує й не бачить, а особа з молодечою душею, що реагує на кожен прояв громадського політичного життя, В. Б-ич завжди стояв і стоїть в курсі кожної громадської справи й має вироблений, ясний погляд на неї. Найбільше цікавився й цікавиться він справами українськими. Тим то, на протязі усієї своєї високо користної й довголітньої діяльності науково-громадської (бо розрізнити їх в його особі ніяк не можна), В. Б-ич був тим осередком, до якого горнулися усі верстви українського громадянства, і старші й молодші покоління, і для всіх він був, як людина досвідчена і з ясним розумом, найкращим і щирим порадиником, добрим товаришем, поважаним та любленим учителем. Хто до таких літ зберіг у собі ясність і чистоту поглядів, не схибивши на бік в протязі 45-літньої праці, хто до 70-ти літ доніс у собі ті самі чуття, які за-молоду його порушали, ту саму щирість, привітність і прихильність до усього, що торкається розвою української справи—хто усього того додержав і бачить на власні очі тепер добрі жнива на ниві, яку так тяжко доводилося орати, часом без найменшої надії на добрі наслідки од того,—той, оглянувши пройдений шлях, повинен зазнати щасливих хвилин, свідомий того, що життя не даремно минуло... Це найвища потіха для чоловіка з громадським минулим і на неї певне право має наш поважаний ювілянт...

В. Доманицький.

За тридцять п'ять літ.

... А я, брате,
Таки буду сподіватись.
Таки буду виглядати—
Серцю жалю завдавати...

Т. Г. Шевченко.

Проволікши по світах більш тридцятка років актьорське напів-циганське життя, оббиваючи в кожному „*тимчасовім пристановищі*“ пороги губернаторських та квартално-участкових „*приємныхъ*“, я що - разу мусив сціплювати міцно вуста, силкуючись усе присунутись ближче хоч на один ступінь до тії рисочки світла, що й зараз миготить ген там у далечині на затуманенім небосхилі незмірного простору... Трепочучи тонісенькими голочками ясного проміння, мов метелик крильцями, та рисочка то спалахує передо мною, то згасає, бо лихі вороги з усії сили потужуються замурувать її непроломною стіною-муром... Ох, ще ж так недавнечко линув я до неї на крилах палких прудконогих дум і мрій, і раптом „мов негода минула молодість моя“, і я вже ледве-ледве посовуюсь до неї, шепочучи: „жив Бог—жива душа!“...

Мало не тридцять три роки вичдвгував я помости ріжних конів—від театральних до балаганних, служачи театрові „проплаканого народу“, права якого на самостійний духовий розвиток давно признали за ним усі вчені й академії „гнилого“ Заходу, всі історики й етнографи; а люті вороги таки напотужують „усі втори“, щоб „злить всі річки в одне море“, хоч би й проти гори. Багато разів цілим хором, з проводирями ріжної шерсти, затинали вони вже й „со святими упокой“. А „Курилка“, мов на злість: *жив та й жив!*...

Служив я вірою і правдою—хоч, може, иноді й помилявся і спотикався, бо той тільки не помиляється, хто нічого не робе, той не спотикається, хто ніколи не ходе,—тому театрові, не-

личкий репертуар якого півстоліттями не сходив з кону і своєю невміручістю не раз доводив до одчаю й жаху „гробокопателів“, що ніяк не дїждуться „панахидних“ піріжків та „колива“...

* * *

Оце ніби прийшла й моя черга розверсти уста, не здержуючи вже на-далі слова за зубами, бо йому там стало тісно, не замовчуючи на-далі того, що мусить бути вимовлене прилюдно, перед усім почесним суспільством...

Почав я служити рідному театрові на 32 році життя. Раніш прийнявся був за вчення, але не за великим клопотом за-отдсилось діло: грошей не стачило на вчення і я, пробувши всього два роки вільним слухачем в університеті, мусив піти на державну службу і поступити в Бобринецький земський суд.

В 60-х роках закутне провінціяльне чиновництво в часи вільні від протирання казенних крісел у судах, протирали з меншим поспіхом хатні—за „зеленим полем“. Дрібнота ж, пописавши папери від 8 годин ранку до 2-х, та від 4 до 6 або 7, улітку,—збиралась на плацу, за „присутственными мѣстами“ і гра-ла в м'яча, в орлянку, в тарана, в перевоза, а зімою збавляла ночі по трактирах, за більярдом та за чаркою і, допившись иноді „до скла“, не тямлючи себе, верталась додому і прокидалась другого дня в чаду, в хмілью, з підбитими очима, з подряпанними пиками... Траплялось і мені не раз попадати в цей крутінь... Одне тільки й відволікало мене від його,—це аматорські спектаклі, що нарешті захопили мене цілком усього. Я певен, що ніщо инше, як ці спектаклі, вирятували мене від тії стихійної хвилі безупинного піяцтва, яка багатьох захлснула без вороття навіки.

Перші спектаклі в Бобринці почалися з того, що туди якось ненароком заїхала пара голодних актьорів, та ще й до того обоє вони слабували на сухоти. Вони обернулись до моєї матері, щоб акомпанувала їм в якихось двох водевилях; вона, ли-

бонь, була чи не єдина піаністка, що могла добрати з голосу акомпанімент. Таким побитом у Бобринці, відколи він існує, відбувся перший спектакль. Біля тієї нещасної пари потроху згуртувався гурток аматорів, на чолі з моєю матір'ю, що заміняла їм оркестр, а нарешті почала виступати й сама з великим успіхом у комічних ролях.

Одначе не всім бобринцанам припала до смаку ця заставка. Канцеляристи-піяки за те, що мати відбила від їх гурту скількохсь юнаків та приохотила до грання—вимазали дьогтем ворота моїй бабусі, у котрої моя мати жила. Бабуся спершу прокляла мою матір, прокляла і акторів і всіх аматорів; а нарешті, переконавшись, що добре робить людям таки слід, а найпаче, як побачила своїми очима нужденну пару, яка була тільки із шкурки та кісток,—гірко просльозилась над їх долею і промовила: „хай не тільки ворота, а й дах вимажуть, матері їх рябий бісі!“...

На каникулах, приїхавши з університету, я також приймав участь у спектаклях заїзжої пари. На других каникулах я вже тії пари не застав, чи вона померла, чи куди виїхала—не пам'ятаю.

Коли я осівся на службі в Бобринці, то через недовгий час сам став на чолі аматорських спектаклів.

Бобринець колись був місцем заслання політичних і в мої часи заслано було туди О. Я. Кониського, з яким я познайомився і учав що-дня до нього... ¹⁾ Скоро його було переведено, либонь, у Київ; а я перевівся на службу в Єлисавет. В Єлисаветі спектаклі пішли далеко краще, та й театр там був не то що в Бобринці, де містилося у мізернім помешканні публіки чоловіка 40—45...

Прослуживши на державній службі дев'ять років і будучи вже секретарем Бобринецької городської думи, я, як кажуть, покинув „печене й варене“, подав в одставку, переїхав в Одесу, де й дебютував у народнім театрі графів Моркових і Чернишова—в ролі Стецька („Сватання на Гончарівці“) 13-го ноября 1871 року.

¹⁾ А ще раяіш, під час Севастопольської війни, в Бобринці були на засланні Мусин-Пушкин та Бестужев-Рюмін.

Український театр тоді був при „последнім іздохані“, тільки ще де-не-де аматори інколи грали раз на рік „Наталку Полтавку“ або „Назара Стодолю“, як от: в Олександрії, в Єлисаветі, в Херсоні. Справжні ж труппи нехтували ним і самі актьори з українськими прізвищами поховались за псевдоними, то за *ових* та за *євих*... Михайловський, колись український актьор, перелуцився в Базарова, Лашко—в Лашкова, Петренко—в Петренкова... Мені навіть не довелось бачити ні жодного артиста з видатних українських артистів, як, наприклад, Щепкина, Соленика.

Одним із останніх могоканив-актьорів українців був якийсь Нечай. Бачив я його в 60-х роках на кону в Єлисаветі, в ролі Самійла, у водевілі Ващенка-Захарченка: „Іди, жінко, в салдати!“

Комізм цього артиста був у патяканні. В житті, звичайно, трапляються „дурноляпи“, тільки не такі, яких удавав Нечай. Великого сміху наробила його довжелезна, завдовжки з аршин шапка, вся із шкуратяних шматків різної масти: білої, сивої, чорної, рудої, червоної... Там були клаптики: заячої шкурки, лисичої, вовчої, телячої, козиної, овечої, верблюжої, свинячої, кошечої, собачої... Нечай звав її „писанкою в сорок клинців“.

Оце і вся вбога устна історія замершого українського театру, ото ж і всіх українських артистів, яких довелось мені бачити і про яких довелось чути.

* * *

Дебют мій обставлений був „безсловесними персонажами“ російського репертуару, з помішником декоратора та машинистом, які ще не встигли обмосковитись через малограмотність, що зашкодила їм прорватись із-за лаштунків на кон, не давши подужати таких слів як: *св нами, св вами, св тьми, св друими*,— все в їх акценті чулося *ы*; та ще до того й „гєкали“ здорово...

Тільки одна російська артистка Виноградова, що зросла в труппі Зелинського, не забула ще мови й була на своїм місці. Останні виконавці не грали, а партачили... Але на нашім базарі й такий крам був годящий, як то кажуть: „для хохлов і такий бог бряде“...

Так-сяк днів за три п'єсу наладили, і дебют був такий добрий, що після спектакля мене умовили, не виходячи в театру, підписати контракт. Як новака і безрепертуарного, мене прийнято на 175 карб. в місяць, плата, як на тодішні ціни надто велика.

Комплект виконавців потроху поповнявся з аматорів-студентів та семинаристів, яким не вільно було брати участь частіш одного разу на тиждень, а тим часом режисьорові здавалося, що я мало зайнятий, і він накидав мені ролі російські, з однієї репетиції, і я „звонко“ провалював їх; славу, яку придбав я українськими ролями, російськими занедбав. Тільки на другий сезон почав я спинатись на ноги і в російським репертуарі.

Із жіноцтва найтрудніш було здобути аматорок. Опріч дочки П. І. Ніщинського, що ще тоді була підлітком і вчилась, більш я нікого не пам'ятаю з одеситок; всі вони цурались своєї мови... Та й часи тоді ще були не ті, що зараз: жіноцтво жахалося кону і знайомства з актрисами не запобігало. Хоча в Одесі й був тоді український гурток, але й і він рятував Україну більш *московською мовою*.

Російські „козирні“ артисти, окрім не дуже багатьох, дивились на український репертуар з іронією, з усмішкою; другорядні ж каркали, хіхікали або гадючили... Один з заядлих перекинчиків (сказано ж: „нема лютищого ворога, як хатній“!) завжди виспівував вірш власного твору, на мотив „сонце низенько“:

„Нічого не розумію,
В носі пальцем ковиряю“...

І третьорядні артисти реготали що-разу до кольки, до корчі!... Друзів я між москалями не знайшов, через що з кожним сезоном все дужче почував себе самотнім...

Прослухав я в Одесі мало не три зімових сезони, виїзжаючи на літо з товариством поблизу від Одеси—в Аккерман, наприклад... Звичайно, що за такий довгий час довелося переставити разів по п'ятнадцять кожну п'єсу тодішнього убогого репертуару, і він вже не цікавив публіку. І почалися присікування з боку антрепризи. Тоді вже не Моркових була антреприза: після несподіваної смерті Чернишова вона несподівано перейшла до содержателя цирку—Сура, а потім до Милославського. Ми-

дославський занехав ідею Чернишова, що дбав про народній театр: він почав перелицьовувати труппу на опереточну і сам, буди трагиком, почав виступать в Менелай („Елена Прекрасна“), в Юпитері („Орфей в аду“) і т. д. Звелів мені грати Орфея з двох репетицій, я збився у співі і переплутав увесь акт... Приїхав в Одесу великий італ'янський артист Россі. Як же не подивитись на такого колоса? Я мусив грати в якійсь м'єльодрамі незначну ролю,—за півдужини пива взявся заграти її товариш, а я побіг дивитись Россі. Милославський покликав мене в контору, задав „головомойку“ і оштрафував 30 карбованцями, я попрохав його зовсім роцитать мене. Побувавши на гастролі Россі, я через скільки день вже дебютував у Харькові, в трупі Александрова-Колюпанова, в ролі Виборного (в „Наталці-Полтавці“), на 225 карб. в місяць. Колюпанов арендував театр французький, в д. Павлова. В його трупі я зустрів більш підхожих персонажів за-для українських п'єс: Стрельсько-го з дочкою, Мартинову, Тімаєву, Жукову, Хащина... Хутко організувався чудовий хор з універсантів та ветеринарів. І в Одесі, під моїм регентством, теж був гарний хор—з універсантів та семинарів. Зате ж у Харькові між молоддю більш знайшлося підхожих виконавців на українські ролі, і спектаклі пішли далеко складніш, ніж в Одесі. За лаштунками почувалась рідна мова, яка не вмерла ще в преславнім бурсацтві, чо-го в Одесі було дуже мало. В Харькові я виставив уперше мою п'єсу: „Дай серцеві волю—заведе я неволю“. В Одесі, через обмаль персонажу, найпаче жіночого, виставити зовсім її було не можна... В Харькові уперше виставив я твори і В. Александрова: „Не ходи, Грицю, на вечерниці“ і „За Немань іду“... Хотів я виставити „Долю“ Стеценка, але, на превеликий жаль, цензура не дозволила.

Рецензентом у Харькові був українець-„панахидник“, котрого обрусительна миссія закінчилася в Москві долею, схожою з „капутом“ щедрінського Трезорки. Прізвище цього неборака мов навмисне зліплене було з двох прізвищ—з одного ніби недоробленого, а з другого переборщеного... Він радив мені залишити український театр, запевняючи, що „ужь не воскресять его ни годы, ни люди“, та йти на просторий та широкий шлях московського кону.

На літній сезон 1874 р. заангажувався я в Петербург, на Крестовський острів, по 400 карб. на місяць; туди повіз і невеличку українську труппу: Стрельську, Мартинову, Лядова, Стрельського і Хащина.

Тоді всі театри приватні в столицях монополізувала дирекція імператорських театрів, і не дозволяла ніяким труппам цілком виставляти твори, через що і на афішах друкувалось „сцени и монологи“ з такої-то штуки; і ми, українці, занедбані, либонь, ще з п'ятидесятих років імператорською сценою, підпали під ту ж категорію... Не знаю, чи й досі ще друкуються всі афіші не в инчій друкарні, як тільки в тій, в якій друкуються афіші імператорських театрів? Ще так недавно на вбогі заробітки провінціальних трупп, що грали в столицях, та на різних концертантів заїзжих що-разу накладала лапу імператорська дирекція і брала за афішу, завбільшки з пів аркуша паперу, від 40 до 50 карб. Гарний десерт до тії цифри, що щогоду асігнується на викорм імператорських артистів!...

По умові з дирекцією Крестовського театру, я, окрім участі в сценах та монологах, мусив діріжірувати українським хором і виступать соло.

Раз у дівертисменті, після третьої вже чи четвертої вистави „сценъ та монологовъ“ із „Сватання на Гончарівці“, коли я проспівав якусь пісню соло і пішов з кону, то замість звичайних оплесків почув якийсь гвалт: „шваньку, шваньку“!... Я вернувся на кін, уклонився і почав співать на біс якусь другу пісню, але публіка заглушила рітурнель оркестра тим же покриком: „Шваньку, шваньку“!... Я ніяк не міг зрозуміти, чого вимага від мене публіка, все виходив, усе кланявся, а публіка ще гірш репетувала: „шваньку, шваньку“!... Аж прибіга за лаштунки управляющий театром д. Кусов і каже, що то публіка прохà мене заспівать ту пісеньку, якою я кінчаю другий акт в п'єсі „Сватання на Гончарівці“... Насилу догадався я, що річ іде про пісню: „оцей світ, такий світ“, що кінчається словами: „а то шваньдай, шваньдай“!...

І вже до кінця сезона я що разу мусив на біс співати „шваньку“, поділяючи поспіх madame Филиппо, котра щодня на біс виконувала з нечуванним поспіхом шансонетку „L'аmour“.

Столичні часописи похваляли мої вистави, похваляли й голоси, але ніколи ні жадного слова не сказали про те, відкіля ці таланти й голоси, хто вони Россії і хто Россія їм? Тільки крамарь тії крамниці, що була поблизу нашої дачі, де жив я і Стрельський з дочкою, догадався і через нашу покоївку почав передавати „нижающее почтеніє миленькой цыганочкѣ“ (хоча Стрельська зовсім не була смуглява), доки Стрельський не пішов у крамницю і не сказав лабазному ловеласові, щоб він направив своє „почтеніє“ на іншу адресу...

Заразом з нами багато служило закордонного люду і чимало перебувало по тижневі та по скільки день співачок і співаків ріжних націй і ніхто навіть з них не цікавився нами. Чужоземців, як тільки вони сходили з кону, завжди за лаштунками чекали „пшюти“ всякої масти й шерсти і зараз же йшли з ними до „кабінетів“... І треба віддати честь мущинам-чужоземцям, вони здорово поїдали й випивали все, що подавалось на стіл, але ніколи не спускали очей з своїх дам і не лишали їх з „пшютами“ а ні на мить... Разів зо два траплялось так, що якій небудь французці чи італіянци бракувало кавалера, тоді вони прохали мене бути за кавалера й доручали моїй опіці якусь demoiselle чи сіньоріну. Тоді ж то я вперше побачив, як мамини синочки жбурляють на вітер скаженими грішми... Пам'ятаю, як один безвусий корнет, „назюкавшись“ коньяку, жменями розсипав по кабінету золото і аж дригав ногами з реготу, дивлячись, як татари-лакузи стукались лобами дружка об дружку, кидаючись навздогінці за червіньцями, що розсочувались по долівці...

Пригадую, як було на ярмарку в Харьків приїздив з Москви хор, либонь, Соколова. Що-разу після скількох пісень чергова солистка обходила з нотами публіку й кожний клав на ноти скільки хтів... Співав хор чудові народні пісні, з танцями; співали й солисти—народні пісні і з опер, і які бували свіжі чудові голоси!... Приїзжий сміливо вів у зал свою сем'ю, знаючи наперед, що там вона не побаче й не почує того, чого вже тепер не обминеш не тільки в кафе-шантанах, а і в багатьох гостиницях... Звичайно, що траплялись і тоді „широкі натури“ з девізом: „ндраву моєму не препятствуй!...“

Зустрівся я в Петербурзі з місцевим артистом Павловим, котрий зіму рипів на контрабасі в Александриньці, а літо служив по загородніх сценах, читаючи українські оповідання. Родився він у Петербурзі, жив у йому безвиїздно, ніколи на Україні не бував і мови не чував, а українські оповідання читав, як сам він запевняв, „сз колоссальнымъ успѣхомъ“. Правду сказав Гоголь устами Подколесина („Женитьба“): „какой это смѣлый русскій народъ!“...

Пізніш, уже в 80 р.р. зустрів я другого такого ж в особі Пушкіна „знаменитаго єврейскаго куплетиста“. Хто його знає, де він той жаргон чув? Кому траплялось чути куплетистів-євреїв: братів Земель, Шварц, той певно скаже, що Пушкін сам собі вигадав жаргон. Раз він пустився концертувать по провінції і доїхав аж до Єлисавету; не знаю, з чим він вернувся назад... Одначе треба згодитись і з тим, що „на наш вік... слухачів стане!“ Що ж до поспіху цього куплетиста в Петербурзі, то відомо всім, що там, де багато світу й науки, немало є й грошовитого туполобія, заціпнутого блискучими гудзиками та закутаного в бобрі...

На змінній сезон поїхав я в Херсон до антрепреньора Медведєва (Свірцевський) за режисьора. І з цього города мені так не повелось, що хутко витрусилося з кишень усе, що було придбано „в Одесі та в Черкесі“...

В цім городі була вибрукована аби як одним-одна вулиця, а останні топились у багнюці. На одній з таких улиць був і театр, перероблений з жандарської стані. Зіма, як на лихо, трапилась гнила, і як почались дощі з осени, то лили аж до Різдва; а з кінця січня знов лили до великого посту. Спектаклі одсрочували, бо ні пройти, ні проїхати; антрепреньор утік, завинуватівши трупі до п'яти тисяч, і нас двадцять сім чоловік сіли „як рак на мілі“... Скільки не міркували, скільки не бились об поли руками, скільки не погрожували кулаками в простір, а нарешті рішили вести справу далі на товариських умовах, бо рипатись було нікуди й ні з чим... Власник театру залякував нас, що віддасть театр комусь іншому, як ми не внесем арендної плати, але той „хтось“ не з'являвся, і ми ставили спектаклі, перебиваючись „з хліба на квас“... Кинулись ми до губернатора за порадою й почули від нього розумну раду:

„не надо было вам сюда приѣзжать“. Він, спасибі йому, таки частенько одвідував театр (як не сам, то чиновники його сповняли ложу, звичайно без найменшої плати, навіть і в бенефіси) і „преклонявся“ перед моїм талантом... Скупенький таки був А. С. Ерделі, царство йому німецьке!...

В половині січня року 1875, з недоїдання та через неспромогу жити в путящій квартирі, померла артистка Янковська, що співала пречудесним сопрано. Через тиждень поклали в лікарню і її старого батька, колись видатного польського артиста... В кінці січня, коли діла почали кращати, запив актьор Страхов... Актьор Михайлов тричі з п'яних очей вішався... Втік актьор Бочаров з жінкою, захопивши з каси більш як сто карбованців,—жінка його була касіршою. Комусь з актьорів вона сказала, що її дитина раптово занедужала і що касу вона здасть вранці; а о шостій годині ранку вони обое, сівши на пароход, втекли в Миколаїв. А за скільки день перед тим, як утекти, Бочаров зайшов до мене, як мене не було дома, і виканючив у моєї жінки у позику, „до діліжки“, шістьдесят карбованців, та ще й узяв з неї слово, щоб, борони Боже, не похвалилась мені... Ось у які лабети ускочив я був з ласки уквітчаного орденами підполковника Свірцевського... Від такої трупочки недорогого заходу коштувало б і цілком збожеволіти!...

Становище наше з кожним днем гіршало: доводилось витягати що-дня Страхова з шинку та по дві години підряд „одмочувать“ йому голову, щоб хоч трохи очумати... Михайлова витягли з петлі за годину перед спектаклем... Машиниста мало не що-вечора, після спектакля, доводилось відсилати в участок, бо під кінець спектакля він до неприємності напивався, вимагав уперед грошей і бив вікна в касі, ламав мебель...

Як скінчився цей нещасливий сезон, я переїхав *авансом* з сем'єю в Елісаветград... Умовили мене товариші, щоб я пішов до губернатора та випрохав їм білети на пароплаві,—кому до Одеси, а кому до Миколаїва. Губернатор і на цей раз зістався вірний собі, сказавши: „этого я никоимъ образомъ сдѣлать не могу!“... Далі він подякував мені за „доставленное удовольствие“, посумував над невдалим сезоном і побажав: „счастливаго пути!“...

* * *

На літо 1875 р. закликала мене на гастролі, в Галичину, директриса української труппи п. Т. Романовичка, по рекомендації тамтешнього адвоката д. Ганкевича, з котрим я познайомився в Одесі.

Тодішній галицький репертуар був дуже нецікавий і мені в йому не було чого робить. Найвидатніша п'єса була „Підгоряне“. Потім: „Румпельмаєр“, „Гнат Приблуда“, „Карпатські горці“, „Фальшієри банкноти“, „Дзвони з Корневіля“ і т. и. Костюми убогі, декорації неподібні, оркестр із шістьох музик, хор з чотирьох дівчат і п'ятьох хлопців... У дирекції заведений був звичай, щоб кожен бенефіціант вистановляв у бенефіс нову п'єсу, через що всі артисти мусили бути авторами. Здебільшого вони брали польські твори й переробляли на свою мову, що під впливом польської зовсім далека була від української... В тій труппі я застав скількохсь акторів, що раніш були в Росії в польських труппах; вони вдавали з себе добрих знавців української мови; але я засвідчив д. Романовичці, що у нас на Україні цілком не так говорять, як говорили пани Наторський та Гордовський. За лаштунками панувала польська мова; артисткам ролі переписували латинськими літерами, бо вони тоді гражданки ще не вміли. У перероблених творах з польського Наторський вів свої ролі цілком по польському.

Як я прибув у Тарнополь і пішов на перший спектакль нашої труппи, то мені здалось, що я в польському театрі. Знайомлючись з артистами, я переказав їм своє вражіння від їх акценту, через що зразу став у ворожі відносини з п. Наторським, режисьором труппи. З першого ж дня п. Наторський почав говорити, що моя мова не українська, а московська; і д. співробітник часопису „Д'єло“, підійшовши до мене після спектаклю, в якому я загравав Виборного, сказав: „дозвольте, ваше високоблагородіє, відрекомендоватись вам“. Я здивувався, що він звеличав мене *високоблагородієм*, і коли на його питання: якою я мовою розмовляю, я одповів: мовою Шевченка,—він підійняв до гори брови й розвів руками. виявилось, що він на Україні не бував і мови такої, якою я говорю, не чу-

вав. Коли я в розмові і на далі постеріг, що він знов звеличав мене „високоблагородієм“, я спитав його: шуткує він, так мене величаючи, чи навспражки?... Нарешті я ледве запевнив його, що в нас тільки салдати та прості люде, розмовляючи з офіцером, або з паном,—кажуть: „ваше благородіє“, або „високоблагородіє“.

Раз академики, що збірались їхать на посади в російські гімназії, закликали мене в казино на „кригель“ пива і там почали прохати, щоб я побалакав з ними по-московському. Я згодився і почав їм розповідати про Україну по-московському. Кельнер, що свіжо приніс пива, чи навмисне, чи випадково, не причинив дверей і там раптом згуртувалась купка людей і повишувала голови в двері... А через скільки день п. Наторський ославив мене московським шпигом.

Ще більш загострились наші відносини ось з якого випадку. Д. Романовичка, звичайно, з бажання п. Наторського, попрохала мене заграти (в „Наталці“) Возного, якого грав артист Стефурак і ніяк не міг прибрати толу. Я згодився на її прохання. Аж ось увечері прихожу в уборну, дивлюсь: п. Наторський, що грав Виборного, наліпив носа завбільшки з кулак.

— На кого це ви, добродію,—питаю,—мастикуєтесь?

— На Мазепу!—відповів він, регочучи.

Я зараз пішов до п. Романовички і сказав, що колиб знав, що я маю грати сьогодні Возного ради того, щоб Наторський так утриував грім Виборного, я не згодився б на її прохання. П. Романовичка покликала Наторського і веліла носа зменшити, Взагалі галицькі актьори дуже часто наліплювали замісць носів бараболі!... ¹⁾

В спектаклі Наторський почав виробляти всякі „курбети“... На кін вийшов він навприсядки, задом до публіки, показуючи на тяжинових штанях величенну чорну латку... Як Петро каже: „я був і в театрі“, то Наторський, спитавши: „щож то таке театри, город чи містечко?“—додав від себе: „чи може таке руде, як моя голдва?“...

¹⁾ Д. Стефурак у ролі Шельменца такого наліплював носа, що з його можна було виліпити три носа.

Попрохав мене якийсь бенефіціант заграти рольку мулата в тріскучій мелодрамі... Коли я гримувався, Наторський спитав: якого то біса я гратиму? Я відповів: Костюшка! Цього було досить щоб і до від'їзду мого з Галичини Наторський дихав на мене лихим духом.

А ось що мені розказували про дебют в трупі п. Бачинської, теж бувшої польської артистки, з Росії. Дебютувала вона в „Наталці-Полтавці“; здається це було у Львові. Уборну її уквітчали вінками, килимами та рушниками; а як виступила вона на кін, то її засипали живими квітками... Як скінчився спектакль, академічна молодь винесла її з театра на руках і аж до помешкання йшла навколо неї, плещучи ввесь час в долоні. У яким же убранні виступила п. Бачинська, в „Наталці“, мати якої „по убожеству продала дворик, купила хатину“?... Вона вся була уквітчана французькими квітками й широченними шовковими биндами і не в запасці або в плахті, а в куценькій до колін дамчистій спідничці, що спіднизу була підшита десятима біленькими спідничками, немов в криноліні, у куценькому розмальованому фартушку, в панчішках та туфельках на високих закаблуках, немов пречепурилася до балету: „Пан Твардовський“...

На скільки галицька українська молодь спочувала рідному театрові, доволі сказати те, що межи тамтешніми артистами зустрів я скількохсь академиків, які ради діла ладні були навіть сами поміст на кону замітати... Гродський, Королевич, Витушинський... Та що з того? Вони бачили театр німецький, польський і не бачили українського... Брак талантів, брак репертуару, брак театрів, брак... достатків... На чолі театру стали польські актори: Бачинська, Камінська, Бачинський, Наторський, Гордовський... і як кажуть: „пошла писать губернія“...

В Тарнополі і в Чернівцях були путящі театральні зали; що ж до таких міст як Кіцмань, Дорогобуж, Снятин, Залізчики і інші, то там робились вистави в *станях*... Перегородять половину стані, начеплять декорації, посиплють пісочком... З одного боку за загородкою коні иржуть, а з другого артисти співають... Либонь у Снятині й оркестра не було і в антрактах якийсь місцевий аматор грав на скрипці, здебільшого все вальси, а я пригравав йому на фісгармонії... Вистави в цих за-

кутках пригадали мені Бобринець з залогом д. Медового—завдовшки 11 аршинів, разом з коном, і 6 завширшки, з порткаблями... 1)

Дуже шкодили ділові ворожі відносини поляків. Як тільки де з'їздилися трупи українська й польська, то конкуренція мало не до бійки доводила...

Але це трапляється не тільки проміж ріжнонаціональними трупами, а й проміж рідними. „Гай-гай! Не тепер споминки!“...

* * *

На зімовий сезон вернувся я в Росію і дограв сезона в Елисаветі з аматорами, де найбільшу участь в спектаклях приймала сем'я Тобілевичів.

На літній сезон 1876 р. покликав мене в Катеринослав д. Ізотов за режисьора і там нас, українців, в початку липця спобігло тяжке горе: українські вистави Височайшою волею було заборонено.

Посумувавши в волю та набивши голову об дуба, засів я за московський репертуар і з поради одного московського артиста заходився читати трагедії Озерова, щоб виробити мову... зубрив Шиллера, зубрив Шекспіра, зубрив Ободовського, зубрив і оперетки... бо „нужда скаче, нужда пляше, нужда пісеньку співа“... Що було робить? Чиновником знов стати—борони мене Боже; вернутись до Галичини—ні за чим 2).

За п'ять років переграв я до 500 ролів на московській мові—від губернатора, в „Птичках п'ївчих“ до Отелло.

Ті роки я лічу ганебними і за для московського театру, коли на кону, з легкої руки артистки Александринського театру Лядової, запанувала оперетка і такі корифеї як: Милославський, Берг, Н. Новиков, М. Максимов, Струж-

1) В Улашківцях, у ярмарок, трупа грала в такій шопі, що як під час вистави пішов дощ, то вся публіка розгорнула парасолі, а актьори щудились по за лаштунками, мов щутики.

2) Вже далеко пізніш після мене закликали до Галичини Косіненка, Торік були там дд. Заньковецька та Садовський,—цікаво б довідатись, що вони там зробили?

кин навіть і Н. Х. Рібаков мусили появлятися в ролях: Менелайв, Агамемнонів, Калхасів, Юпітерів, а герої драматичні, як Рютчі, Горев, Ніколін—виступали в Ахіллах, Аяксах... Хто не хотів грати в оперетках, тому зменшали плату, або й зовсім прохали. „від'їздить від воріт“... Припадало так: *хочеш їсти—валяй дурака!*...

Зимовий сезон 1876—77 рр. служив я в Сімферополі, у Л. Яковлева, з дебюта в ролі городничого, в „Ревизорі“. Там на половині сезону діло зовсім упало, Яковлев зрікся антрепризи, не доплативши силу грошей акторам, за що віддав трупі на увесь сезон бібліотеку, костюми, декорації і всяку всячину... Але це не помогло, бо і в Сімферополі роз'ярився смак до оперетки... Організувалась з місцевих театралів,—між котрими був і Чехов, агент драматичних писателів,—дирекція і запровадила оперетку. Сказано—зроблено. Настановили мене за режисьора, виписали опереточну артистку, набрали хор, виписали оркестровки опереток, переплативши за їх силу грошей (за оперетку „Птички п'ївчія“, либонь, заплачено було 140 карб.), пошили костюми, намалювали декорації і почали „канканіровать“... Отут уже довелось і мені виступати в ролях губернаторів: в „Птичках“, в „Зеленім острові“, в „Острові Тюмпатані“, в „Юпітерові“, в „Калхасі“, в „Гаспарі“, в „Синій бороді“ і т. и. Під кінець сезону я ніби почав почувать у ногах щось подібне до шпату, як ото бува так з конякою, що йде-йде вона, а далі й підкине задню ногу, так і мені йдучи або сидячи—иноді кортіло дригнути ногою. Мурзаки, зустріваючи мене на вулиці або на бульварі, гукали: „здірасуй Карапіницькі!“ і зараз починали співать: „Тыри багина рости тьмна ала-ла-ла, ала-ла!“... Місцева часопись відзначала мій поспіх в оперетці; але скільки я не видригував ногами, а таки *канкан* мені не дався; за те цілком дався він М. М. Нежданову та А. Н. Лінському-Неметті!...

До зімового сезону 1881 р. служив я по багатьох антрепреньорах, де-котрі з них замували мої зароблені гроші, а у де-котрих доводилось виривати, прямо таки хапаючи „за барки“... Держав я і сам один сезон трупу і „прогорів“ до щенту!...

На сезон 1881—82 рр. поступив я за режисьора в трупу Г. А. Ашкаренка, в Кременчузі, і з цього сезону починається ніби нова ера за для українського театру.

Злиденні заробітки на московським репертуарі примусили труппу прохати министра внутрішніх справ графа Лорис-Меликова дозволити заграти хоч скількох українських спектаклів, щоб зарятуватись від неминучого голодування. Граф прихилився до нашого благання, і ми почали *нову еру* „Наталкою-Полтавкою“. В тім самім грудні місяці, що 6-го на годовий празник на п'єсу А. Островського ми мали не більш тридцяти карб., столітня бабуся „Наталка“, в буденний день, зібрала людей повний театр. На дальші українські спектаклі білети розкуповувались на розхват, театральний під'їзд не фаєтонами та колясами завізнявся, а хургонами та возами, в яких наїздили на спектаклі хуторяне-козаки.

Стоячи якось біля театру поруч з поліціймейстером Филоновим та дивлячись на народ, що товпився до каси, як до причастя, я промовив: „ще не вмерла Україна!“

— Скоро вмере!—каркнув Филонов, позираючи яструбиним оком навколо, ніби вишукував когось, щоб причепитись... Нарешті він гукнув до одного чоловіка, що ніс у руці з десятка білетів.

— Кому це, Хведоре, стільки ти накупив білетів?

— Батькові, матері, братам, собі, жінці...

— Невже так кортить?

— Своє ж, рідне... А вам би-то й байдуже?

— Всім нам рідна єдина Русь-матушка—одмовив Филонов.

— Та воно, положим... Прощавайте, треба поспішати додому...—І козак хутко пішов до хургона.

Не було рації присікатись до Хведора і Филонов сказав, усміхаючись: „однако я увѣренъ, что запретятъ вновь и даже очень скоро!“...

День за вісім до Різдва запросив нас на шість спектаклів у Харків антрепреньор опери і драми П. М. Медведев, і в Харкові ми теж зробили повні збори. Дуже сіпатично ставився до наших вистав генерал-губернатор Святополк-Мирський і дозволив постановити спектакль моїм бенефисом *23-ю грудня*, з винятком скількохсь там $\frac{0}{0}\frac{0}{0}$ на місцеву добродійну мету... ¹⁾.

¹⁾ Опісля вже, як був я з трупою Петербурзі, то побачив, що там найлегше ламається закон.

Харківськими спектаклями ми закінчили службу під антрепризою Ашкаренка і поїхали в Київ до антрепреньора Іваненка, в театр Бергон'є, вже на товариській заснові, і я став на чолі товариства.

В Києві виставили ми на перший спектакль „Назара Стодолю“. Ашкаренко грав Сотника Кичатого, я—Назара, Садовський—Гната, Галю—Маркова, Стеху—Крамаренчиха. Крамаренчиха здригнула і почала балачку прихапком; не геть то піддержала її й Маркова. Цю наполохала артистка московської труппи Казанцова, що чергувалась з нами спектаклями. Я кипів за лаштунками і скреготав зубами...

— Грицьку! — шепнув я Ашкаренкові, як той мав вийти на кін: „підійми тона!“...

Ашкаренко тона не підняв і я, дивлячись крізь щілини декорації на публіку, бачив, як де-хто з земляків ховався за колони лож, а інші присідали в ложах, або схиляли додолу голови й ніби прислухались, що ось-ось зірветься заверюха незадоволення. Хотів я підбадьорити сватів, але глянувши на Крамаренка, що грав першого свата, догадався що він уже „підбадьорився“ в уборній заразом з Ашкаренком... Це був чоловічок не без таланту, але великий запіяка. Груди мої ширились, серце так билось, що я це чув вухами все в мені клекотіло й стогнало... Садовський, стоячи поруч зо мною, теж тремтів... Настала черга і нам виходити—і я вилетів на кін, мов ураган, радісний, щасливий... Оплесків таких я не чув і в Харкові, але я не ворухнувся і стояв у здивованій позі хвилин зо дві, доки не змовкли оплески ¹⁾. Така занадто довга хвиля дала мені змогу здержати зайвий пал, і я почувся в самому собі, що вже вдруге ніколи не вимовлю так здивовано, так вразливо-гордо, так боляче-гірко: „Дай Боже вечір добрий, по-мо-гай... біг... на все... до-об-ре!“... я звів всю цю фразу *decrecendo*, до ридяючого шепотіння...

¹⁾ Після цього випадку де-котрі театрали силкувались упевнити мене, що я повинен був уклонитись публіці; але я і зараз стою на тім, що бувають такі моменти, коли артист не мусить звертати уваги ні на які оплески.

Повисовувались землячки з-за колон, попідіймали голови; очі їх заіскрилились вогнем задоволення, уста радісно й привітно усміхнулись, і акт закінчився громом оплесків. В другім акті, на вечерницях, Крамаренчиха так протанцювала, що у публіки дріботіли ноги, а долоні попухли від оплесків. Тодішні танці до теперешніх рівнять не можна; бачивши недавно, як танцювали артисти труппи Суходольського, я обернувся до людей, що сиділи поруч зо мною і спитав:

— По якому це вони танцюють?

— А чорт їх зна по якому!—одповів один.

— Може по-циганячи, а може й по-чортячому,—сказав другий, регочучи.

На другий день я прочитав у часопису велику хвалу танцям та й подумав: „ага, ось по якому вони танцюють!“...

М. Л. Кропивницький.

Далі буде.

Велике повстання англійського народу¹⁾.

Кінець.

V.

Чи був вироблений ватажками повстання певний план діяльності? Чи було заведено таку спілку, організацію, яка мала проводити в життя цей план? Професор Петрушевський, який присвятив повстанню свої магістерську та докторську дисертації, рішуче висловлює думку, що перед повстанням жадної організації не склалося і що вона, так само як і тактика повстанців, виникла аж тоді, коли повстанський рух уже почався²⁾. Інакше дивиться на цю справу англійський вчений Тревеліан, який прямо каже, що повстання обмірковувалося заздалегідь в столиці Англії Лондоні. „У Лондоні“, каже він „збиралися звичайно привідці повстанців, бо там вони увіходили в стосунки з пролетаріатом великої столиці. Дехто з мійських старост (aldermen) та з поважаних городян також брали участь в їхніх нарадах. Маючи певну надію на те, що оці саме впливові городяне одчинять столичні брами, ватажки ухвалили закликати людей осередкованих (центральных) графств з півночі та з півдня, щоб вони рушали до Лондону, а вже тутечки, в самій столиці, з'єдналися б до гурту. Тим часом східня Англія разом з иншими її частинами, що лежали далі від Лондону, повинні були повстати; тільки не вгадати, чи ці останні мали брати лише часткову участь у поході до Лондону, чи їм наказано було обмежитися виключно мандрівками по своїх околицях та дбати про самі-но місцеві потреби. Влітку р. 1381 було розіслано посланців геть по всіх отих округах, щоб

¹⁾ Див. № 8 „Нов. Громади“.

²⁾ *Петрушевський*. Возстаніе Уота Тайлера. Частину першу видаво р. 1897, яко магістерську дисертацію, частина ж друга побачила світ р. 1901—її написано за-для одержання степені доктора.

підготувати країну до тих подій, які ось-ось мали вибухнути... Такі агітатори вже давно працювали по селах та по містечках Англії, тільки тепер вони приходили не з тією думкою, щоб говорити взагалі про становисько сучасне, а вже з певним наказом від „Товариства Великого“ (Great Society), бо так вони звали спілку, що складалася з нижчих класів англійського громадянства¹⁾.

Петрушевський шукає в подіях повстання сліду передповстанської змови та організації і, не знайшовши повної злагоди між усіма окремими рухами всіх тих різних сил, що брали участь у повстанні, цим доводить, що і взагалі не було ніякої організації чи змови попередньої, бо, коли б не так, ми були б свідками повної, суцільної, а значить і заздалегідь організованої боротьби. Навпаки, Тревеліян малює передповстанські заходи надто докладно, зазначаючи такі дрібнички, що навряд чи мають усі вони вагу критично досліджених історичних джерел. Та швидче можна пристати на думку Тревеліяна, бодай і не йняти віри словам англійського вченого що до подробиць плану повстанців, і вже ніяк не можна згодитися з міркуваннями Петрушевського, який заперечує повстанню попередню організацію лише через те, що, скоро воно вибухло, ми не бачимо *повної* суцільности повстанського руху. Історія та й сучасність свідчать, що єдиний спочатку потік, єдиний спершу рух, визначений рисою організованої боротьби, розщеплюється далі на кілька струмочків, поділяється між кількома організованими, чи неорганізованими групами, які вже далі йдуть кожна своїм шляхом. І цілком зрозумілий такий кінець, бо що далі, то все більше виявляється різниця інтересів, різниця тих колерів, що раніше зникали перед загальним інтересом, який так чи інак усунуто, задовольнено. Саме таке з'явище дифференціації, розщеплювання єдиного спочатку організованого руху спостережемо і з історії грізних подій 1381 року.

Добрий історик звик у своїх оповіданнях розрізняти *причини* її чи іншої історичної події та ще й *приводи* її. Хоча таке одріжняння не має під собою жадного гносеологічного ґрунту, бо з філософичного погляду „привід“ така сама рівноцінна іншим

¹⁾ England in the age of Wycliffe, стор. 202—203.

причина, як і так звані „причини“, бо таке, чи инше історичне з'явище, така чи инша історична подія (напр., революція) зрозуміла цілком у всій своїй індивідуальності лише після того, як з'ясовано буде *геть усі* попередні та тимчасові умови, за яких та подія скоїлася,—та традиція, звичай міцніш усяких таких міркувань, і через те повинні ми спинитися оце зараз на тих найближчих подіях, що викликали повстанський рух, мовляв, на „приводах“ до повстання.

Англія саме в той час перебувала лиху годину так званої столітньої війни, що тяглася вже з давнього давна. Війна була страшенно шкодлива для Англії. На протязі останнього десятиліття Англія втратила чисто весь свій флот, а на суходолі у Франції англійський король втратив мало не всі свої землі, які тоді підлягали його владі. Разом з тим війна була вельми непопулярна в Англії, бо вже не кажучи про втрату війська, флоту, земель французьких, громада англійська обвинувачувала, і цілком правдиво, тодішню королівську адміністрацію в злочинствах, навіть у крадіжці державних грошей. Ходили навіть чутки, що одна фортеця у Франції через зраду перейшла до французького війська. Що далі затягалася війна, то більш страждав народ, на який накладали ще нові та нові тягарі, аби всякі авантюристи, що оточували трон вже трухлявого Едварда III, мали з чим братися до нових експериментів з людьми та з грішми, мали чим підживитися „во славу отечества.“ На чолі всієї політики стояв ненависний народові брат короля Джон Ланкастерський. Сей, визначений надмірною пихою, герцог не спинявся ні перед якими заходами та вчинками, аби задовольнити свої свавільні бажання, аби знищити опозицію, що вже значно виявилася під той час. Ворог народньої волі, він навіть намірявся в 1377 р. позбавити столицю Англії її старинних вольностей, аби повернути її під повну кормигу адміністрації. Та лондонці не допустили себе до такої ганьби. Вони наробили такого шелесту, що ясновельможному герцогові довелося тікати від наглої смерті, і тільки через випадок не спалили вони під ту завірюху його пишного лондонського палацу. Та помста чекала привідців сього заколоту: незабаром мера та шеріфів Лондона, що стояли на чолі мійської самоуправи, з наказу короля скинуто з посад, а вище духовенство відлучило від церкви авторів усіх тих памфлетів, що їх росповсюджували вороги герцо-

га. Цікаво, що автори сих творів були невідомі (їх писання вида-но було анонімно), а ще цікавіше те, що сам герой отії помстли-вої вакханалії Джон Ланкастерський був вікліфітом, а значить принципіально нехтував забобонами католицької церковщини: отож, не в принципах сила була для герцога, який не згірш од інших вельможних дукарів чекав того слушного часу, коли мож-на буде загарбати всі добра від монастирів та церков... Після всього, що наведено оце зараз, зрозуміло стане, чого це лондонці, на-віть дехто з уряду мійського, так ненавиділи герцога та і вза-галі адміністрацію короля, і з спочуттям ставилися до повстан-ців, а може й справді заздалегідь закликали їх іти до Лондону, як доводять декотрі джерела, і обіцяли відчинити їм брами.

Повстання почалося з села. Річ у тім, що королівський уряд запропонував, а парламент р. 1380 затвердив заведення нового налогу, бо бракувало грошей на нещасливу війну. Се був подуш-ний налог, найшвидливіший з погляду фінансової науки. Кожна людина мусила внести шіллінг до державної скарбниці; навіть жін-ки, яким було більш як 15 років, підлягали подушному. Сподіва-лися, що таким чином добудуть чималу суму грошей. постано-вили були зібрати подушне в два строки: взімку першу частину, влітку другу. Та вперше зібрана частина подушного дала надто невеличку суму: чи була тут крадіжка грошей тими, що збирали їх, чи просто бракувало добрих статистичних відомостей про люд-ність,—гарзд не відомо, а швидче, що було і те, і друге. Тоді королівська рада ухвалила доручити справу окремій комісії з Джоном Легом на чолі. Комісія, що була озброєна широкою вла-стю, навіть правом садовити в тюрму, мала на меті притьмом ви-правити геть усі гроші, на які сподівався уряд. Кажуть навіть, ¹⁾ що Лег простісінью взяв на посесію (одкуп) недоїмку, і вже, звичайно, при такій нагоді комісія не спиналася ні перед якими надужиттями, напр., коли вірити літописцеві Найтону, урядові сіпаки не жалували навіть дівочої соромливости, аби спізнати, чи вже має жінка такий вік, щоб підлягати подушному. ²⁾

¹⁾ Літописець Найтон.

²⁾ *...et puellulas, quod dictu horrible est, esursum impudice elevavit, ut sic experiretur utrum corruptae essent et cognitae a viris..* Knighton, lib. V, col. 2633. Мова тутечки про одного з тих податкових збірщиків.

Селянство, яке вже й без того витерпіло за останні десятиліття багацько лиха від вузько-егоїстичної класової політики уряду, від утисків своїх лордів, селянство, яке прагнуло вільного, незалежного життя, яке наскрізь проніялося було новими ідеалами, що їх оголосили в палких промовах народні заступники, це селянство прокинулося тепер і взяло в свої руки велику справу свого визволення. Народній терпець увірвався, коли комісія з Джоном Легом на чолі розпочала свою діяльність.

VI.

Повстання виникло вперше в кінці травня 1381 року в графстві Ессекс. ¹⁾ Тут люде з хутора Фобінга заявили мировому судді Бемптоніві, який вів слідство про сплату подушного, що вони зрекаються платити знову, бо взімку вже віддали своє. Коли Бемптон почав був загрожувати фобінгцям жорстокими карами, вони з'єдналися з людьми сусідніх сіл (Керінгема та Семфорда), озброїлися стрілами й рушили до Бемптона, що пробував той час у селі Brentwudі. Бемптон ледве-ледве втік від наглої смерті, швиденько зникши з Brentwуда і почимчикував до Лондону разом з своїми безпорадними помішниками.

Коли в Лондоні почули про бунтацію, королівський уряд похапцем послав туди судову комісію з Белькнепом на чолі. Місцеві присяжні вказали декотрих селян, яко бунтівників ²⁾. Але Белькнепові не пощастило їх заарештувати, бо вже добре згуртовані селяне не то що не віддали своїх на поталу суддям, ба навіть відтяли голови декому з присяжних, так саме як і суддям, зруйнували хати присяжним, а Белькнепа прозвали зрадником королеві та рідному краєві, і той тільки-тільки спасся від неминучої народньої кари.

Дальша діяльність сих перших повстанців виявляється тим, що вони розсилають своїх посланців скрізь по сусідніх місцевостях, закликаючи приставати до їх та рушати до Лондону. Тим,

¹⁾ На схід сонця від Лондона. Фобінг біля самісінького моря або ж гірла р. Темзи, на північ від неї.

²⁾ Англійські присяжні попереду брали участь лише слідством.

що однинували, загрожували смертю або руйною їхнього майна, підпалом хати то-що. Селяне кидають ланові роботи, озброюються rozmaїтим „древолієм“ (поїржавілі мечі, луки позовкві, сокири, вила, ціпки навіть). Окремі гуртки, так саме як і згуртоване селянство графства Ессекс, що рушило на захід сонця, до Лондону, руйнують по дорозі панські маєтки, палять всі документи, що знайдуть в палацах лордів, бо в тих паперах записано споконвіку права лордів на своїх кріпаків, перелічено геть усі їхні обов'язки що до лорда. Не менш достається від народнього гніву й заступникам уряду, всякому фінансовому та іншому чиновництву; оселі їхні плюндрують, майно знищують, подекуди забирають гроші та забивають на смерть представників адміністрації так саме, як і поміщиків. Церковні маєтки руйнують, так саме, як і оселі світських лордів. Само собою, достається найбільш тим, хто раніш прикро ставився до народу.

До повстанців пристають деякі дрібні урядовці, напр., бейліф Ганінгфільдської сотні. Він був дуже видатний ватажок. Про нього навіть оповідають, ніби він закликав селян з п'ятох сіл і примусив їх запрягтися, що вони „підуть війною на короля“. Лицемірно прилучалися до натовпу, грізного й невблаганого, навіть деякі з панків, бо ж чекала їх неминуча смерть, як би вони насмілились коверзувати і не дати відповідної присяги: „скачи, мовляв, враже, як пан каже“... А паном під той час був народ, до краю переповнений жадобою помсти. Та були поміж дрібною шляхтою й такі люди, що щиро ставали на бік народу, добре розуміючи кривду народню й лихий лад громадський.

Крізь руїни та кров, осяяна полум'ям панських та чиновницьких маєтків, прямувала велика юрба ессекських селян, десятки тисяч їх, просто на Лондон, столицю, де пробував король з своїми „лихими порадниками“, де витворювалася складна система народнього визискування, яку, мов сітку, було накинута геть на всю Англію. Ця сітка, хоч і яка товста, вже була розірвана ессексьцями, але, здавалося, надійшов слушний час, коли треба було перепинити й надалі розвиток тієї системи і, з'єднавшись в сильні лави, вибороти всій Англії нове вільне життя. 12 червня 1381 року ессекські селяне вже були біля Лондону, де вони стали коло „Старої брами“ (oldgate), на так званому Майленді.

Се був один потік повстанців, що прибували до Лондону з півночі та зо сходу. Вони ж і спинилися на північно-східній боці столиці. Друга велика народня течія насувалася на Лондон з півдня, а саме з графства Кентського. Як сказано вище, ессекські повстанці, розпочавши рух, порозсилали своїх людей сповістити скрізь, що вже час братися за зброю, що в Ессексі вже „прокинулися“. Сю звістку радісно вітала вся Кентщина. Вже другого червня селяне сумежного з Ессексом Кентського села Ерит (по той бік р. Темзи) напали на монастир сусідній і силоміць примусили аббата запрягтися, що він прилучається до їхньої спілки (*essendi de eorum comitiva jurare cogunt*). Другого дні, то б то 3-го червня, еритяне та дехто з сусідніх сіл перевезлися на ессекський бік Темзи і 4-го червня вернулися в Кентщину, маючи з собою близько ста чоловіка з поміж ессекських повстанців. З їми вони рушили на місто Дартфорд, де вже 5-го червня почалася колотнеча: юрба зробила напад на дім головного податкового урядовця в Кентщині (коронера), захопила всі податкові папери і спалила їх на майдані.

Попереду кентські повстанці потяглися з усіх закутків до Дартфорда, а звідси вже посунули до головного міста Кентщини Кентербері. Цікаво, що в Дартфорді, скоро тут зібралася чимала сила людей, відбулася рада, на якій було ухвалено, що ніхто з тих мешканців, які живуть не далі як 12 миль від моря, не мають права брати участь у повстанні, а мусять охороняти беріг від чужоземних ворогів.

В п'ятницю, 7 червня, ватага повстанців обложила фортецю в Рочестері, бо тут сидів у в'язниці не що давно, а саме 3 червня, заарештований селянин, якого посадовив сюди якийсь дрібненький панок за те, що той утік від його. Гарнізон, що держав варту, скоро здався, і в'язня було визволено.

В міру того, як наближалася повстанська юрба до Кентербері, сили їхні збільшувалися, бо до головного стовпа приставали люде з тих сіл, повз які проходила маса повстанська. Дорогою, звичайно, плюндровано подекуди мастки, палено панські документи. Людей, що йшли на прощу до Кентербері (бо тут поховано мученика Хому Бекета, архієпискупа Англії), повстанці спиняли, і вони мусіли присягатися „королеві Ричардові та громадянству“ (*regi Ricardo et communibus*), давати обіцянку, що не стануть

вважати за короля ніякого Джона. Ці заходи коло кентерберійських прочан потребують деяких пояснень. Повстанці, найменні ті, що складали більшість, дивилися на свою народню справу не як на таку, що суперечить інтересам короля. На їхню думку, король ані трішечки не був винен в тих утисках, що перетерпів їх народ, і це тим більше, що король Ричард, який заступив не що давно (з р. 1377) свого батька—небіжчика Едварда III, був молода людина. Лихі люде, мовляли, що оточують трон молодого короля, нашіптують йому шкодливі поради й користуються його ім'ям, щоб гнобити люд. Повстанці навіть мріяли, що як би пощастило захопити Ричарда у свою руч, вони б добули з ім усе те, чого вони так щиро прагнули. Та невже ж цей благородний молодик не спочував змаганням своїх підданих вибороти собі волю? Ні, цього ніяк не можна було припустити!...

Найгірше лихо добачало англійське селянство, що повстало за волю, в шкодливих порадиниках короля. На чолі їх стояв відомий дядько Ричарда, про якого не раз згадувано, а саме Джон Ланкастерський, брат небіжчика Едварда III. Народ з великим підозрінням дивився на сього ненависного авантюриста, певний у тому, що дядько скося позирає на трон і має хижу думку скинути з його свого небожа та й самому сісти. Отож і кажуть повстанці кентерберійським прочанам не визнавати за короля якогось там Джона (*nullum regem qui vocaretur Iohannes asserarent*).

10 червня кентські повстанці, маючи на чолі Вальтера Тайлера, Джона Гельза та Вільяма Гавкера, увійшли в Кентербері, де городянство стріло їх дуже радісно, бо, як каже літописець Фруассар, вороже настроений до повстанців, „усе місто належало до їхнього кода“ (*toute la ville estoit de leur secte*). Незабаром повстанці напали на кентерберійську тюрму і визволили геть усіх в'язнів, потім примусили голову адміністрації, шеріфа, віддати всі документи, які й спалено на мійським майдані, бо серед документів було багацько судових та й інших усяких паперів з цілого графства. Не гаючись посунула хутко юрба до мійської управи, де примусила мера та бейліфів присягти „королеві Ричардові та вірному громадянству Англії“. Сплюндрувано, само собою, кілька домів, де проживали були представники королівської адміністрації. Нарешті юрба посунула на аббатство імени св. Хоми Бекета.

Се була споконвіку резиденція головного бискупа Англії (примаса). Під ті часи сі важливі обов'язки виконував архієпископ Симон Седбері, що разом із тим був ще й канцлером королівства, себто стояв на чолі „лихих порадників“ короля. Саме тоді його не було в монастирі, бо він через свої державні обов'язки мусив пробувати в столиці. Юрба грізно почала вимагати від ченців аббатства, щоб обрано було йншого архієпискупа, бо Симон е зрадник і йому однаково скоро буде кара від повстанців. Добули потім вина з монастирських льохів, пили його, недопитки порозливали по підлозі, а хатню обстанову примаса, добре її пошматували та потрощили, повикидали на двір. Тільки трьох чоловіка вбито було за цей день.

Другого дні (11 червня) нечисленні лави кентських повстанців рушили лондонським шляхом просто на столицю. По дорозі вони зазирали у Медстон, саме там тоді сидів у тюрмі великий оборонець народній Джон Болл, славний проповідник, що не милував у своїх, натхнення повних, промовах навіть короля та папу. Коли королівська адміністрація садовила його у медстонську тюрму, Болл, кажуть, мовив: „двадцять тисяч братів визволять мене з цієї в'язниці“. Пророкування його здійснилося, бо повстанці розбили тюрму і перш за все визволили свого духовного првідцю, свого пророка богонатхненного.

Прихилиючи на свій бік нові сили селянства, що мешкало по-над лондонським шляхом, руйнуючи маєтки ріжних судейських людей, бо були вони звичайними захистниками панських привилеїв і з'особна „Статуту робітничого“, наближався цей великий людський потток до столиці. У середу, 12 червня, росташувалися вони стотисячним табором на північнім боці р. Темзи, за 3 милі до Лондона, на вкритому лісом узгір'ї Блекгит. Прибували ще нові юрби повстанців з Кенту, Суссексу, Серрею (двох сумежних з Кентщиною графств) ¹⁾.

Перед такою незліченною аудіторією, грізною та страшною, біля пишного Лондону, що мріяв по той бік Темзи, оточений ви-

¹⁾ Ессекці прибули трохи пізніш, хоч і в той самий день (12 червня), та вони були попереду цілком відокремлені від кентців, бо насували на столицю з її північно-східного боку, де й стали на т. зв. Майленді.

соким кам'яним муrom, серед дикої природи Блекгитського взгір'я, Джон Болл сказав своє слово. То була гаряча промова, в якій Болл знову зазначив, що всі люде рівними колись були, що Бог не потребує поділу людей на панів та хлопів закликав скинути нарешті споконвічне рабство, бо настав уже слухний час щоб здобути волю, давно бажану. Повстанці мусять знищити всіх магнатів, суддів і взагалі всіх, хто тільки може шквдити громаді. Тільки тоді настане рівність і безпечне життя.

Сильне вражіння зробила ця промова на народ, який в один голос казав, що єдиний Болл має право стати за архієпискупа та за канцлера королівстві.

VII.

Англійські „власні предержачі“ опинилися саме тоді у надто прикрім становищу. Повстання так швидко обхопило країну, що англійський уряд не чувся, як утратив просто в народні лабети. Більшість саддатів тинялася під ту завірюху або у Франції, де ще тяглася війна, або ж перебувала на кордонах шотландських (Шотландія ще не підлягала англійській кормизи). До речі, може, було б тоді яко мога хутчій видати урядове оповіщення за підписом короля та виголосити тим протест проти повстанців, що вживають ім'я Ричардове за-для досягнення своєї мети; але шляхи до народу були вже цілком відрізані, та чи й поняв би народ віри тій відозві?... А пани, які б могли скласти таку-сяку міліцію зпоміж себе, перелякані, або повтікали в Лондон, або ж в нестямці і тремтінні переховувалися по гаях, годуючись чим попадає.

Але найприкріше перебували ті хвилі придворні разом з королем. Вони всі сховалися в Товеровській вежі, що стояла над Темзою: тут були покої короля. Саме перед тим вернулася з провінції мати короля, яку лицарським звичаєм пропустили повстанці, хоч за кілька годин перед тим сплюндровано було її маєток в Ессекшині. Вона ж розказала про всі страхиття, які бачила, і тим ще більшого суму завдала присутнім. Більш над усе боялися вступу повстанців у Лондон, хоч жевріла ще надія на муніципальні власті, які б не повинні були, на думку переляканих товеровців, одчиняти брами. Марні мрії!

Тим часом кентські повстанці вирядили зпоміж себе посланців до короля. Через цих вони переказували своє бажання побалакати з Ричардом, щоб розповісти йому що діється, і як то можна лихові запобігти. Король пристав на думку придворних, які пораяли скоритися народній волі. Човен з королем та де з ким з придворних (а був тутечки й канцлер Симон, і Гельз, скарбничий, так само зненависний народіві, як і його рясофорний товариш) спинився посеред Темзи саме проти урочища Ротергіт, куди вже збіглося назустріч кілька тисяч повстанців з головного табору, що якийсь час перебував на Блекгіті. Галас кількох тисяч народу вітав властителя Англії: „здавалося, мов усі чорти з пекла врядили тут своє збіговисько“, зауважує побожно літописець. Порадники короля зо страху перед цим грізним натовпом пораяли королеві не під'їздити до самого берега. Незабаром керовничий повернув човен назад. „Зрада, зрада!“ залунало з табору повстанського, і всі кинулися руйнувати передмістя Саутворк, де між иншим розбили тюрму Маршалсі та потрочили геть до останку все, що було в однім з палаців архієпискупа Симона (т. зв. Лямбетський палац).

Чekali вступу в Лондон. Мійський голова Вольворс дав наказ гаразд пильнувати лондонського мосту, щоб не пропустити повстанців через браму. Та поміж деякими муніціпалами були прихильники повстанців; що ж до самих лондонців, то тут можна було налічити велику силу людей, які тільки й сподівалися того приходу, покладаючи великі надії на „провінціалів“, бо з їми ж можна було віддячити і Джонові Ланкастерському, що був зробив замах на муніціпальну волю столиці та баламутив короля, та й заразом усім ворогам народу, які чимало знущалися останніми часами з народу, що прагнув волі й доброго ладу.

На боці повстанців стояли і деякі зпоміж ольдерменів (сказати б, старости), які вартували з своїми підручними біля мійських брам. Ще вночі проти 13 червня ольдермен Горн мав стосунки з повстанцями, а скоро розвиднилось, стотисячна юрба, що тим часом спустилася з Блекгіту, з прапорами в руках, була вже на лондонськім мосту, переп'ятому товстеним данцюгом. Чи то через допомогу ольдермена Сайбіла, що саме на мосту держав варту і, коли вірити судовому протоколові, прихилився до повстанців, чи то через те, що людей було багато і перед ними мусила

відступити сторожа, однаково, повстанці сунули лавою крізь одчинену браму на вулиці Лондона, який уже прокидався для грізних подій того дня. Тим часом ольдермен Тонг впустив ессекських повстанців у „Стару браму“, що на північному сході, і на вулицях столиці скоро змішалися ці дві великі народні течії.

Поперед усього кинулися повстанці до розкішного палацу „Савою“, що належав Джонові Ланкастерському, дядькові короля. Хазяїна „Савою“ не було тоді вдома, бо він справлявся з шотландцями. Його палац савойський уважався за явесь диво краси та розкошів. Все, що тільки було цінного в цілм світі, зібрано було в отім паладі, який своїм багатством стояв над усіма королівськими будинками тодішньої Європи. Злото, срібло, розкішна одіж, коштовні меблі, дорогоцінне каміння, одно слово, всі найкращі здобутки тодішньої матеріяльної культури можна було знайти в пишнім паладі герцога Ланкастерського. Отож пей саме палац підпалили повстанці з усіх боків, а чого не можна було спалити, те трошили, розпорошували та кидали в річку. І Боже борони, коли хто наважувався грабувати герцогське добро: кара на горло чекала того злодія! Та дехто з юрби не втерпів, добравшись до льохів. Закортіло поласувати винами смачними, що переховувалися тамечки, та перепилися ними до того, що забули про море вогню над головами, бо палац саме над льохом стояв: кровви перегоріли, стеля завалилася, і руїни палацу сховали під собою 30 запаморочених піяків.

Від Савою рушили на Темпль, де була школа для підготовки молодих людей на адвокатів. Деякі будинки там сплюндровано, а книги та документи спалено, або порубано сокирами: адвокатів ненавиділи, яко оборонців інтересів магнатства. Потім було розбито кілька тюрем, а рештантів повипускно на волю: се, звичайно, тільки допомогло тому, що народній рух, спочатку цілком революційний, хоч і перенятий подекуди щиро-погромними колірами, став закрашуватися де далі фарбою хуліганщини, хоч наперед скажемо, що пей виступ арештантів не мав впливу на загальний хід подій і відбивався тільки-но у вчинках поодиноких гуртів. Того ж таки дня (13 червня) зруйнували повстанці палац скарбничого королівства Гельза, що звався Гайбері („другий рай“ літописців). На цьому скінчимо оповідання про події 13 червня, і

тільки зауважимо, що окремі повстанські гуртки робили своє діло: руйнували добро найбільш непопулярних людей скрізь по Лондону.

У п'ятницю, 14 червня, коли сонце підбилося вгору, стан річей був такий. Більшість повстанців скупчилася у передмісті Майленді, де за день перед тим стояли самі-но ессекці. Малася тутечки відбутися зустріч і бесіда народу з королем, бо цього вимагали повстанці. Друга частина їх ще звечора проти п'ятниці оточила Товер, де пробував король вкупі з придворними. Це була справжня облога, бо повстанці навіть перехоплювали харч, що везено його було Темзою на вжиток оторопілим мешканцям Товеру. Повстанці загрожували, що коли король не прийде до їх на бесіду та не віддасть їм „зрадників і лихих своїх порадиників“, вони сплюндрують Товер і вже не пожалують тоді навіть і короля: кара на смерть буде надгородою і йому за таке призи́рство до народу.

Король мусив їхати на Майленд. Коли він рушив туди вкупі з кількома дрібненькими придворними та родичами, натовп сунув крізь розчинену браму у внутрішні покої Товеру, шукаючи канцлера, скарбничого та й ще декого з немилих йому урядовців. Гарнізон, що був стояв тут, перелякався і не перечив юрбі. Канцлер королівства, архієпискуп і примас Англії Симон Седбері, сховався у придворній капличці. Юрба обізвала його зрадником королівства, нищителем черні й потягла, галасуючи, на горбочок біля Товера. Примас прохопився був словом, щоб заспокоїти натовп, загрожував навіть Англії папським прокльоном (інтердіктом), але невблагана юрба ще більш розлютувалася, кричала, що вона не боїться папи, і нарешті відтято сокирою голову найпершій духовній особі, найголовнішому англійському адміністраторові. Така ж сама доля спіткала і скарбничого державного Роберта Гельза, і Джона Лега, що взяв був на посесію подушне, і лікаря Апельдора, що стояв близько до герцога Ланкастерського, і ще декого. Голови їхні понастромлювано на списи і ношено вулицями, а потім виставлено на лондонським мості. Незабаром забито було Ричарда Лайенса, заможно́го купця, що стояв був у 1376 році на чолі фінансових справ королівства, дбаючи про власну кешеню. Його засудив був „Добрий“ парламент, та Джон Ланкастерський вдався до короля Едварда III, і його помилювано проти волі народу. Тенер народ мав змогу здійснити свою волю.

Багацько ще де-чого случилось того ж таки 14 червня у Лондоні, та звернемось на Майленд, де король мав бесіду з своїм народом. Коли Ричард прибув сюди, повстанці вдалися до нього з петицією, на папері писаною. Тамечки вони висловили всі свої бажання і прохали короля затвердити петицію. От найголовніші точки народнього прохання: 1) кріпацтво мусить бути скасоване; 2) всі мають право вільно купувати і продавати скрізь по всій Англії (бо раніш брато ріжноманітні мьта, і тільки-но городяне не сплачували їх); 3) землю нехай обробляють колишні кріпаки не за панщину, а тільки за гроші, не звиш 4-рьох пенсів за акр ($\frac{1}{8}$ десятини); 4) повна амністія повстанцям. „І ще багато иншої неподобної нісенітници верзли оті пройдисвіти“, додає чернець літописець. Напр., вони заявляли про лихих порадників, що оточували троп, і казали, що надалі король повинен слухатися свого народу. Король пристав на волю народа, казав повстанцям залишити по 2—3 чоловіки від кожного села, які мають одібрати грамоти про волю за королівською печаттю, решті ж райв спокійно розійтися по домівках.

Мова короля приємно вразила повстанців, а булл тут, на Майленді, ессекці здебільшого, і великі юрби їх потяглися додому. Тим часом писарі державної канцелярії засіли за писання грамот про волю, які й видавано було заступникам кожного села того ж таки, та й другого дні. В грамотах докладно перелічено було всі бажання, які зазначено згорн у 4-рьох пунктах. Від нині не було в Англії кріпацтва, і давно бажана рівність мусила запанувати на всім просторі королівства.

Та не довго народ справляв радощі. Урядове поведіння було ж тільки єдиним способом захистити себе, збутися мерщій отих страшних стовпиц, що перевернули шкереберть громадське життя і загрожували геть усім його „основам“.

VIII.

Після подій на Майленді виявилось яскраво, що поміж нечисленними лавами повстанськими існує дві течії. Одна з тих течій, більш умірвована, складалася з людей, що вірили в силу королівської обіцянки. В своїй простоті душевній вони були пе-

реконані, що король ні за яких обставин не зламає свого слова. А до того цим найвним легковірам цілком бракувало політичного чуття, і вони навіть не гадали про неминучу потребу здобути собі ті гарантії, які тільки й могли забезпечити навки здобуту волю. Такою гарантією, певна річ, могло б бути єдине ось що: реформа парламенту на підставі поширення виборчого права народу, а насамперед—за тих умов, що склалися під ту завірюху—вступ головних ватажків народніх мас у раду короля. Та обіцянка короля про „теплий кожух“ була для найбільш зневоленої частини повстанців куди зрозуміліша, аніж гадки про „гарантії“, що й не ночували в головах їхніх.

Та не всі повстанці визначалися такою містичною вірою в ту обіцянку. Це були переважно кентці. Гніт феодальних утисків не так тяжив над Кентщиною, як над іншими землями королівства. Вони більше від ессекців розуміли вагу добрих політичних умов життя. Вони передчували, що королівський уряд перемінить „милість“ на гнів, скоро повстанці покинуть Лондон, і грізні стовпища народні зникнуть у безкрайї глибині великої країни. Тим то ця, сказати б, радикальніша половина повстанців постановила ще зачекати в столиці.

Та коли ми спробуємо докладніш розкрити собі, що ж то, справді, ворушилося у головах радикальнішої частини повстанців, як вони уявляли собі ті способи, що можна б було їм забезпечити нове життя, затвердити волю, так тяжко здобуту, на непохитних підвалинах, коли ми загадаємо розміркуватися в тих технічних засобах, якими радикали сподівалися збудувати оті підвалини, то ми або наткнемося на повний брак яскравої політичної думки, що до сього, або стрінемо цілком фантастичні мрії. У „Сповіді“ Джона Строу (*Confessio Iohannis Straw*), одного з видатних привідців повстання, відбилася оця риса мрійности в повній мірі. Перед смертю Строу признається, що план їхній був такий: вирізавши геть усіх землеволодільців, світських тає саме, як і духовних (опріч мандрованих ченців), таї взагалі знищивши тих, що були „більш поважними, хоробрими та вченими“, повстанці приступили б тоді до видання нових законів і поставили б на чолі кожного графства окремого короля! Та й на таку фантастику, певна річ, приставали хіба декотрі зпоміж повстанців (як от Вальтер Тайлер, якого були призначали на королівський

трон у Кентщині); що ж до сірої маси повстанської, то вона інстинктивно, серцем почувуючи соціальну й політичну неправду, на ділі була оповита тією ж традиційною сіткою політичних заботобів, скута віковими кайданами містичної віри в короля, яка, звичайно, ані трішечки не перешкождала вбивати королівських урядовців та иншим бунтівницьким вчинкам. Повстанню цілком бракувало реальної політичної програми, яка б в'язала докупи історичну традицію й нові політичні змагання. І не диво, що, коли лондонський королівський уряд трохи очунав, він швидко припинив руйнильну роботу повстанців.

Але вернемося до подій, що творилися в Лондоні після того, як рушили 14 червня з столиці задоволені ессекці. На 15 червня призначив король умовившись з повстанцями, зібратися на майдані Смітфільдським. Ще перед тим, як їхати на нову розмову з народом, король загадав помолитися перед труною Едварда сповідника, що стояла у Вестмінстерським аббатстві. Король сповідався тут і причастився, але релігійний настрій було йому збаламучено, бо стовпище повстанців кинулося в церкву за королівським маршалом на ймення Імворт, який сховався від юрби поміж трунами англійських королів ¹⁾. Він був начальником тюрми Маршалсі, і, певно, визволені в'язні загадали помститися за його, очевидно, не дуже м'яке колишнє поведіння з їми. З гвалтом поволокли вони Імворта з церкви, і на Чипсайдським майдані відтято було йому голову. Сцена навела великий смуток на короля і його дочку; дехто навіть не вдержався й заплакав. З тривоگوю в серці рушили на Смітфільд вестмінстерські богомольці. Повстанці скупчилися на одному з берегів майдану. Король і дехто з близьких стали трохи оддалік, а був тут і мійський голова Вольворс, що вже раніш виявив був свою прихильність до порядку і не хотів пускати бунтівників у браму, що на лондонським мосту. З повстанського табору виступив наперед Вальтер Тайлер. Верхи поїхав він туди, де стояли король і його приближники. Тайлер для історика є досить таємна фігура, хоч його ім'ям прозва-

¹⁾ Вестмінстерське аббатство є усипальнею королів англійських, саме так, як Софійський собор у Києві був усипальнею українських князів, Петропавловський у Петербурзі є теж саме для російських царів.

ля історики весь рух 1381 р. Він був з простих селян, і, очевидно, мав велику силу поміж повстанцями, як цілком своя людина, як енергічний організатор і рішучий прихильник крайніх мір, тоді як Болл був швидче ідеологом повстання, котрий, може, тільки через те не спинав різанини, що боявся втратити популярність, а тим самим і вплив на свою не дуже то сентиментальну аудиторію. Про що балакали Тайлер з королем, невідомо. Тільки ж кажуть, що мійський голова Вольворс не стерпів погордливого буцім то поведіння Тайлера і його гонористої мови і пхнув його з коня. Той упав. Королівська сторожа вмить надбігла і мечами забила „короля Кентщини“. Цей крок з боку прихильників порядку був надто непевний, ризикований, бо повстанці вже були лаштувалися із своїми стрілами, щоб упорати до краю невеличку купку людей, які відважилися так злочинно забити її славного ватажка. Та скоїлося тут щось „несподіване“, несподіване, певна річ, лиш тоді, коли не рахувати на народню психологію, на настрої мас взагалі й повстанської маси, що грізно стояла на Смітфільді, з'особна. Юнак-король під'їхав до обуреного, грізного натовпу і сміливо мовив: „я ваш ватажок, я ваш король; хто за мене, хай іде за мною в поле; там він добуде все, що треба“. Мова *реального* властителя Англії, ім'ям якого користувалися не що давно за-для згуртування повстанських стовпищ, вразила сю довірчиву *misera plebs* надзвичайно, і вони всі прожогом кинулися в поле, як вівці за своїм пастухом. Мер Вольворс тим часом кинувся скликати прихильників порядку, які ще на передодні лаштувалися скласти міліцію самооборони та тільки не мали змоги через заколот на вулицях змовитися гаразд. Вольворс наказав зачинити брами і кликав міліцію мершій поспішатися в поле, щоб вирятувати короля. Незабаром сильний відділ міліціонерів хутенько поскакав за город, і з усіх боків оточив повстанців. Вони не наважувалися вже оборонятися, ба навіть не скористувалися з особи короля, що був серед їх,—а могли б, певна річ, загрозити смертю йому,—і врешті скорилися. Дехто зпоміж правителів пропонував вчинити зараз же криваву розправу з бунтівниками, та інші разом з королем порадили на якийсь час поводитися з повстанцями не дуже гостро, бо в країні саме розжеврювалося повстання, і м'які міри були поки що в пригоді. Кентців так саме пущено додому, як і ессекців, і вони також

здобули собі королівські грамоти, а разом з тим королівський уряд здихався страшних лав народніх, що держали столицю Англії в своїх руках.

IX.

Тим часом, як у Лондоні таке творилося, вогонь революції палав мало не по всіх закутках тодішньої Англії. Дух повстання літав по всій країні, і в різних місцях він виявлявся в різноманітних формах. Чуття про лондонські події надавали бадьорости й віри в правоту народнього діла. Геть по всіх графствах (за малим винятком) прокидалися люде, селяне, так саме як і городяне, і виступали щоб здобути собі прав, яких до того були позбавлені. Цілком місцеві інтереси вигадливо переплуталися з загальними вимаганнями волі, а разом із тим і шляхи, якими люде прямували у своїй боротьбі, добуваючи собі прав, були на диво розмаїтими: більш-менш мирні разом із цілком революційними, як от підпал, арешт оборонців старого ладу, вбивство більш запеклих та упертих. Подекуди повстанцям пощастило завести новий лад, напр., скасувати кріпацтво, ще перед тим, як вернулися з Лондону додому повстанці, що добули собі королівські грамоти. Таке скоїлося, напр., на острові Танеті, де знесення кріпацтва було оголошено з церковної папєрті. В північних містах Англії, як от Йорк, Скарборо, Беверлей, зчинився заволот на ґрунті застарілої ворожнечи городської маси проти городських дуків, при чім у Йорку, де ще перед загальним повстанням на чолі міської самоуправи стояв опозиційний уряд (дякуючи попереднім змаганням), юрба городян під приводом мера та бейлїфів заарештувала декого з заможних городян, а в Скарборо городяне примуєсили своїх службових особ зректися своїх посад і натомісьць обрали нових людей. Численні ватаги повстанців гасають по всій країні, підбурюючи селян і городян боротися проти довгочасної неправди та повликаючись на ім'я короля, який будцім цілком співчуває народнім змаганням. Подекуди (у Кембриджщині, напр.), повстанці спродують маєтки та майно тих, що підлягли народньому самосудові, і таким чином дають привід до обвинувачення їх у тій корисливості, яка не запламіла руйную-

чої діяльності ессекців та кентців (звісно, коли не казати про винятки).

Та те, що скоїлося в Лондоні, рішило долю повстанського руху. Скоро зникли стовпища кентців, король розіслав скрізь такий наказ, щоб місцеві „вірогіддані“ люде поспішалися в столицю рятувати збройною силою свого короля та порядок. За три дні в Лондоні зібралося близько 40 тисяч добре озброєного війська; місцеві землеволодільці повилазили з гущавини диких лісів та з своїх маноріяльних льохів на світ Божий і швиденько згуртувалися, щоб дати одсіч нечуваному лихові. 17 червня вже засідала в Лондоні уряжена королем надзвичайна судова комісія, яка й розпочала розправу з повстанцями, що на ту хвилю досталися до руц уряду: у першу голову покарано на смерть автора „Сповіді“ Строу і ще декого. Другого дні (18 червня) королівський „патент“ сповістив періфів, мерів, бейлифів Англії, щоб вони скрізь нищили ганебну чутку, ніби повстанці творять волю короля, і всіма способами душили повстання. „Патент“ підбадьорив оборонців уряду та старої неволі, а повстанці зажурилися, передчуваючи щось недобре. Ессекці вирядили до короля посланців запитати про справжні наміри короля. „Були ви рабами та й надалі зостанетесь рабами“, була відповідь властителя Англії, а 2-го линня король сповістив країну, що вибороні повстанцями на Мейленді грамоти про волю касуються. Таким чином, тільки півмісяця справляли англійські селяне свято визволення від кріпацтва.

З неймовірною жорстокістю провадилася судова розправа з повстанцями. Амністію, що лицемірно дав був король разом з волею, було так саме потоптано, як і всі ті цолехкості, що зазначено було їх у королівській грамоті. Бунтівників вішано, четвертовано, одрубувано їм голови. У декого з обвинувачених кати розрізували животи, випускали кишки й палили їх перед очима ще живих людей, а потім четвертували й вішали у 4-рьох частинах міста, де кара одбувалася; так було покарано, між иншим, і славного Джона Болла. Свідощвом присяжних, які брали участь слідством, нехтувано, і королівські судді усім, коге б не було виказано, виносили смертний присуд, хоч багато поміж тими нещасними було й таких, що потягнуто їх до суду тільки через венприянь особисту. Це була справжня вакханалія помсти з боку пануючих класів та уряду, помсти народові за те, що той на якийсь час принизив за-

ступників віковичних „устоев“. Настала доба повної громадянської деморалізації: уряд безжалісно карав народ, а поміж людьми запанував такий жах, що винний брат виказував безвинного свого побратима, щоб збутися страшної кари...

Жорстокости уряду провадилися ще довго, бо подекуди вибухали нові повстання, які инколи виникали едине завдяки отим нелюдям мірам, що вживав їх уряд „з ласки Божої короля Англії“, який міг би тепер, після всіх своїх віроломних учинків, сказати за себе влучними словами поета англійського:

Пучки я мав, щоб писати,
Рот, щоб обіцянку дати.
Скоро ж себе врятував,
Ділом те слово зламав ¹⁾.

Разом із „суддями“ творило своє „діло“—утихомирювало країну й військо королівське та поміщицьке. Цікаво, що й сам король инколи з'являвся з салдатами у зворушених і обхоплених вогнем революції місцевостях і брав щирю участь у „спасеннім ділі“ приборкування тих, що ще вчора з такою любовію й вірою дивилися на молодого Ричарда. Не диво, що народ, зневірившись у своєму королі, почав був прихилитися на бік його дядька, Джона Ланкастерського, якого вважали за єдиного сильного кандидата на трон Англії. Почалася була й колотнеча з ції вже причини: народ хилився тим з більшою охотою до свого ще недавнього ворога, що скрізь котилася чутка, ніби герцог скасував вріпацтво в своїх маєтках на півночі Англії.

Ще в-осени країна не була заспокоєна. Роспач гнав тисячі людей на нові заколоти. Жах смерти не дозволяв людям вернутися додому, і вони тиналися по країні, готові на все. Щоб запобігти новій колотнечі, щоб заспокоїти країну, парламент, що зібрався в листопаді 1381 року, оголосив часткову амністію повстанцям; вияток зроблено було для найголовніших злочинців. Та ба-

¹⁾ Swinburne. A Watch in the Night. Пор. Trevelyan, стор. 247.
Оригінал:

Have we not fingers to write,
Lips to swear at a need?
Then, when danger decamps,
Bury the word with the deed.

гатьох з цих остатніх милувано потім, і цікаво, що лондонськи ольдерменів, на долю яких припала така велика роля в історії повстання (бо вони ж пустили в брами повстанців), не покарано. Разом із тим парламент затвердив липневий приказ короля, що до скасування тих грамот про волю, які пороздавав був король своїм підданам. Цікава ще ось яка постанова ноябрьського парламенту: він признав, що втихомирювателі країни, які без справжнього суду карали на горло повстанців, заробили великої догани, бо вони потоптали закони та звичаї Англії; отож вони підлягали б судові, та нехай вже король простить їх. Король, звичайно, пристав на гадку палат.

Так прикро скінчилося велике повстання англійського народу, ця грандіозна подія, що зазнала її світова історія. Повстанню бракувало повної, цілковитої єдності сил, і це виявилось скоро після майлендських подій, коли суцільний доти потік народній розщепився на два струмочки—ессекський, що поняв віри королівській обіцянці, та кентський, де розбурхані повстанням хвилі народні не вщухли на якийсь час і після того. Цей розпад знесилив, само собою, народню опозицію, що скупчилася в Лондоні, і допоміг урядові швидче здихатися повстанських стовпищ. І цю справу прихильними порядку та неволі народньої мали змогу тим легше влаштувати, що всьому повстанню бракувало практичної політичної думки, а разом і тверезої таятики що до здійснення тії думки. Соціально-політичний утопізм на релігійній підставі у ватажків повстання, наміри знищити людей (земельних власників, адвокатів то-що), щоб знищити систему, заступниками якої були ті люде, а разом із тим якась сліпа віра—спадщина віків—у верховного представника тії традиційної системи, а саме в короля, все оце звалено було в одну купу, все це містилося в різних пропорціях у головах людей, що силкувалися вибороти собі й нащадкам справедливий лад громадський. Та чи не найголовнішою причиною такого сумного кінця руху повстанського була та, що в своїй боротьбі за волю повстанці натянулися на твердий ще мур феодального ладу. Правда, економічні підвалини кріпацтва були вже досить розхитані, і, як вже нам довелося

раніш зазначити, подекуди нова грошова система господарства остільки посунула наперед, що разом із старою натурально-господарською підвалиною зникла помалу і її кріпацька „надбудова“ (Uebergbau Маркса). Та проте ще досить міцно держалася стара економічна традиція, що витворювала підставу старому соціальному ладові, бо ще скрізь можна було знайти сліди натурального хазяйства. Ще тривкішою була психологічна атмосфера, патріархальними кріпацькими відносинами навіяна. Цілі бо покоління зростали, твердо вірючи в непохитність старих „основ“, і навіть сам Вікліф, цей найвидатніший розум того часу, жажнувся, коли побачив, до яких соціальних висновків сягнули його учні-лолларди.

Отже помилився б дуже той, хто б над могилами жертв повстання 1381 р. поставив хрест самого лише історичного осуду. „Не помиляється той, хто не бореться“, це раз, а вдруге треба зауважити, що для тих часів темних повстання виявило таку силу натхнення, такий дух незалежності і громадянської самопошани, а разом і таку організованість мас народніх, що важко їх знайти скрізь і завжди в історії народів. Такою мусить бути моральна оцінка народнього руху, незалежно від його практичних наслідків. Та тут виникає ще цілком утилітарне питання: чи була яка користь народові, що стільки сил згубив у боротьбі за волю сподівану? Історія дальших часів дає таку відповідь на цей запит: хоч рух повстанський і не приніс тих наслідків, на які сподівався народ, не зламав зовсім ланцюгів, що тяжили на народі, та все ж повстання прискорило процес розкірпощення в Англії. Страх нового народнього самосуду спричинився до того, що лорди саме в перші роки після повстання поступаються, переводять панщину на грошеві оплатки і взагалі роблять усякі полегкості своїм кріпакам. Таке, принаймні, загальне вражіння, хоч і тут годиться бути обережним, бо не всяка полегкість, не всякий випадок, де ми спостерігаємо це поліпшення умов селянського життя, є конче наслідком повстанського руху або ж хоч і страху нових розрухів: не забуваймо, що й перед повстанням кріпацтво подекуди було цілком скасовано просто як інституцію, що не відповідала новим матеріяльним умовам хазяйства.

Кінець-кінцем, скасування кріпацтва в Англії є наслідком довгої еволюції швидче, ніж раптового революційного акту. Такий

мусить бути останній присуд безсторонньої історичної науки, яка зараз пильнує тих різноманітних умов, що спричинилися до повільного, поступового визволення англійських селян. Сей процес розкріпощення затагся аж до XVI століття, коли ще можна було побачити останніх кріпаків ¹⁾.

Кінчаючи статтю, додаю кілька слів про долю того „Статуту робітничого“, що був спричинився до повстанського руху. Року 1390 в йому зроблено значні одміни. Стару норму заробітньої плати було скасовано, і ціни на працю робітника більш пристосовано до місцевих умов, і хоч Статут і на далі вважався ще довго за добрий спосіб класового гніту, та повстання навчило шанувати силу робітників, і вже не з такою завзятістю налягали лорди на захист формальних прав своїх. Тим часом залюднювалася знову Англія, що колись зазнала чорну смерть, столітню війну, повстанську добу та інші пригоди, і в глибинах англійської громади потроху складалися нові форми життя, нові бурі непомітно зачиналися...

Ів. Бондаренко.

¹⁾ Нові розвідки про кінець кріпацтва в Англії належать, крім згаданого Педжа, ще молодому московському вченому Савину, учню видатного історика Виноградова. Див. його твір: „Англійская деревня въ эпоху Тюдоровъ“, М. 1903.

Весняної ночі.

Ескиз.

З неба дивлються зорі. Хмари, що недавно обкладали все небо, ховаються за обрій. Співають соловейки, акація сповняє повітря своїми пахощами. По вулицях ходять люде, балакають про щось, голоси їх мішаються з калаталом вартового.

Вільно дихається. Хочеться жити, сподіватись і вірити. Чому й кому?

На це питання навряд чи знайшлася відповідь у тій маленькій голівці, що визирає з вікна. В маленькій голівці з гарними рисами обличчя йде велика робота. Життя таке повне, цікаве, що-дня доходять нові й нові чутки про гарячу жорстоку боротьбу. І страшно робиться і сумно, і боляче і хороше. А будущина вкрита темною, темною завісою,—такою ж, як і ця ніч...

— Ганнусю, чи тобі не холодно?

— Ні, мамо,—відповідає Ганнуся і в її голосі чути ніжні, лагідні нотки.

В світлиці запалили світло й на його фоні ще яскравіш малюється кучерява голівка.

Які гарні думки снуються зараз у її.

Бідна мати, коли б ти знала, коли б ти бачила ці думки! Не нарікала б ти на свою дитину, не жалілась би на її холодність та байдужість до твоєї старости! Ні, ти пригорнула б до себе се маленьке гаряче серце, що б'ється таким чистим, святим коханням до тебе й до всіх людей. Ти б заспокоїла свою любу доню, приголубила б, як малу дитину, й своєю ласкою втихомирила б страждання молодого, чулого серця.

Дивлються з неба зорі—ясні, звабливі.

Хутко, хутко б'ється серце у Ганнусі.

Воно забило тривогу. Щось віщує недобре, і дарма Ганнуся дивиться на зорі, марно дожидає, що вони їй щось скажуть, заспокоють.

„Які люде недобрі,—думає Ганнуся.—Життя таке хороше; все радіє, всі живі істоти співають йому гимн хором своїх голосів. І тільки сам чоловік—з усього невдоволений. Шукаючи кращої долі, один мучить другого, вбиває, волю в його відбірає“.

Яка чудова ніч, а скільки сліз тепер ллється, скільки очей, повних муки й страждання, дивляться може в сей самий час, як і Ганнусині очі, на зорі?...

Бодем займається Ганнусине серце й під її довгими віями блищать і переливаються проміння зірок. І вони, як люде, граються в людських сльозах.

„Чи всі ж люде недобрі?—думає Ганнуся.—Єсть же й такі, що хочуть усім краще зробити. Мама каже, що вони злі, недобрі, що не по правді живуть, що на них упаде та кров та сльози, що зараз ллються. Вона каже, що сі люде забули за Бога, не шанують своїх батьків. Але хиба ж се правда? Хиба ж не можна любити і всіх людей, і своїх батьків? Хиба ж мама забороняє мені любити інших, хиба силує любити тільки її саму?“

І глибоко-глибоко задумалася Ганнуся.

„Адже ж мама любить свою доню. Вона певне не хоче їй лиха. Хиба не вона сиділа без сна над нею за часи її слабости, не вона цілими ночами в сльозах молилася за щастя своєї доні? Хиба не мама до кривавих мозолів працювала, щоб тільки дати змогу Ганнусі „вийти в люде?“ Хто, як не мама, найбільш раділа її радіщами та сумувала над її невеликими скорботами?... Добра, люба мама!—шепоче Ганнуся і дві гарячі сльози тихенько течуть по її щоках.

— Ганнусю-серце, чи тобі не холодно?

— Ні, мамо люба...

І знов тихо. Мати з тривогою придивляється до Ганнусі, читає стиха головою й тихенько хрестить свою доню.

Затишає людський гомін. Чорніє високе небо, ясні зорі роблються ще ясніші, ще голосніше співають соловейки, а маленька голівка все дивиться в відчинене вікно.

Як раз напроти стоїть велика будівля. Прикро виступають на темному фоні неба білі мури. За високим парканом в тиші ночі, чути чийсь важку ходу; долітає тиха журлива пісня.

Крізь щілини паркана миготить світ. Коли хода за парканом наближається, світло гасне, а журлива тиха пісня стає ще тихішою.

Ганнуса прислухається до ходи, слухає пісню й пильно-пильно дивиться на вузьку смужку світа, що пробивається крізь паркан.

Їй здається, немов вона бачить за парканом вікно, в заліані ґратки оброблене, а за ґратками—гарне юнацьке обличчя з чорними очима.

Ганнуса немов почуває на собі їх палкий, променистий погляд і сильніше б'ється її серце.

А ясні зорі дивляться і на Ганнусю, і на вікно за парканом.

Стало зовсім тихо. Тільки журлива пісня все ще свої жалі виливає, все ще плаче й сповняє серце Ганнусине гострим болем та сумом.

Вже давно не чула Ганнуса сеї пісні й сього голосу.

І не завжди тиху журбу виливав сей любий голос. Ні,—часами він дзвенів голосно й сміливо; палкі слова, високі чесні думки висловлював він, а не журливі й тихі пісні. Од сих слів огнем запалювалося щось у серці Ганнусиному, хотілось їй вірити, сподіватись, боротись... а тепер?... Тепер мама заборонила думати про його... Коли на нього зверне розмова, мама називає його негарними образливими словами.

„Невже ж мама недобра? За що вона так ображає його бідного, на що клене все, чому він молився й чому молитися почала вчиться у нього Ганнуса? Він добрий, хороший; невже й на його впаде людська кров?“

Страшно робиться Ганнусі. Її очі світяться мукою непорішеного питання. З благанням і важкою тугою посилає вона свій погляд у високе зоряне небо.

„Де ж правда, чия правда“?... Добра, люба моя мамо,—шепоче Ганнуса, а там десь глибоко, в середині, щось инше шепоче:—Любий, хороший мій!

— Добра, бідна, люба моя мамо!—шепоче Ганнуса, схиливши голівку на руки й закриваючи мокре од сліз личко.

А розкішній весняній ночі байдуже до всього. Дзвінко тьохкають і переливаються соловейки, квіти сповняють своїми па-

хощами повітря. Як чорний оксамит, простяглося південне небо й миріади срібних зір розкинулись по ньому.

Вітрець заховався, немов прислухаючись, як б'ється маненьке гаряче Ганнусине серце.

Під парканом промайнула якась чорна тінь, сховалась за товстим стовбуром високого, густого ясену. До неї наблизилась друга... Тіні розходяться, сходяться, а Ганнуся все сидить, схиливши на руки голівку.

Раптом десь близько закувала зозуля. Ганнуся підвела голову. Чомусь до болю заколотилось у неї серце. Міцно притулила вона рученята до грудей, немов боючись, що вистрибне воно з її маненького, худого тіла.

— Зозуля на ясені,—думає Ганнуся.—Яка я дурненька... чого злякалась?

З тієї світлиці чути, як мама шепоче свої молитви. Ганнуся добре знає, за кого молиться її люба мама й на обличчі в неї з'являється вираз святого почування, а очі світяться тихим нижнім сявом.

А з неба дивляться зорі; світять, миготять, переливаються.

За парканом журлива пісня скінчилась, погас світ у щілині, не чути більше й важкої ходи.

Десь далеко-далеко проспівав півень.

В мертвій тиші знов закувала зозуля й разом з цим прогуркотів вистріл і рознісся, як грім, у теплому повітрі весняної ночі.

Щось важке впало з паркана на землю і дві тіні хутко-хутко пронеслися біля Ганнусі. Одразу все сповнилося звуками. Грали на ріжку тривогу, тупотіли коні, бряжчала зброя...

А за парканом чулись крики, людський гомін, чийсь стогін. І з сього гармидеру Ганнуся почула два слова, тільки два слова:

— ...Тринадцятий... неживий...

В її серці щось порвалося і вона вже не чула крику. Високі, ясні зорі погасли для неї

Вся в білому вийшла мати, розбуркана гармидером.

— Ганнуся, чи тобі...—і спинилась...

Просто перед нею стояла її єдина доня й дивилась їй у вічі.

І не ніжна ласкавість світилася в її погляді, не тихе кохання до своєї мами, а щось інше, нове, од чого трівогою забилось і до болю стислося старе материне серце.

— Мамо, на кого ж упаде його кров?—питає Ганнуся і знову страшний погляд її пече материне серце.

О. М.

Народня школа і рідна мова на Україні.

Замітки народнього вчителя.

Народня школа на Україні, опріч усяких перешкод, що стоять на стежці до освіти загалом по всіх школах у Росії, має вожному відому власну болячку,—то нерідна мова, якою вчать українських дітей по школах. Про се не раз говорено вже, але в сій замітці маємо на увазі показати читачам спостереження над самим життям народньої школи на Україні; се, гадаємо, повинно зацікавити людей, яким лежить на серці справа народньої освіти в ріднім краї,—тим паче, що експериментальних дослідів дуже мало в небагатій взагалі, що до сього питання, літературі. Будемо сподіватись, що з'являться незабаром коштовні й докладні праці про се,—а тим часом не будуть, може, зайвими й наші коротенькі замітки на підставі власного досвіду та спостережень.

Для української дитини, що часто приходиться до школи не знаючи ані єдиного слова московського, школа з першого ж разу робить вражіння чогось чужого, від її життя далекого. Дитина часто не впізнає свого навіть власного ймення, вимовленого офіційною мовою,—мовою школи; хлопець, напр., з самого малу знає себе за Панаса, а в школі раптом з його виходить Афанасій. Перші слова вчителя до дітей, промовлені не тією рідною мовою, яку дитина до того чула кругом себе, зразу цілу безодню владуть у дитячому розумінні між домівкою та школою. Вчення в народній школі з новиками, як відомо, повинно починатися з найлегшого; роботи повинно давати дітям зразу потроху, щоб їх непомітно для їх самих втягти в шкільну науку. По народніх школах на Україні перші місяці науки—то каторжна праця, що не по силі ні дітям, ані самому вчителю. Наламувати дитячий язик, що зовсім не призвичаївся до московської мови, заучувати незнайомі слова й разом учити читати—це скидається просто на явесь

глузування з дитини, яку силоміць ставлять в стамовище якогось дурника, що нічого з тієї досадної науки не розуміє і через те не може навіть найлекшого збагнути своїм понівеченим розумом. А з цього виходить, що більша частина дітей з першої групи одразу видає школу, а і з тих, що зосталися на муні, велику частину треба виділити в окремих куток, як цілком безнадійних. Звичайно по школах, де один учитель, діло так ведеться: діти, які з дому прийшли в школу, не знаючи азбуки, під тягарем непосильної для їх роботи незабаром отстають од тих, що хоч трохи знають алфавиту; вчитель не має спроможности вести їх однаковою тропкою й через те мусить, як то кажуть, лишати їх „на произволь судьбы“. Деякі з них не бачучи з такої науки жадної користі, видають школу, інші ж хоч зостаються й уперто ходять цілий рік, бредуть „самопас“; щось пишуть собі, щось читають, а що саме, про те часто й сам учитель не відає,—і на другий рік якимсь то побитом з цієї отари „тупиць“ частина навчилася азбуки. До їх пристають новики, що знають склади з дому, і так складається перша група; а з неграмотних частину знов викидають з школи, а другу садовлять у „тупиць“. Не вдивовижу по наших школах і таких школярів здібати, що ходять років зо-два, зо-три й явось умудряються не піти далі „осы“. Що дала йому школа за два-три роки, яку роль заграла в його розвитку—се дуже було б цікаво дослідити, але стежити за сям у сільського вчителя просто часу немає. Буває иноді, що батько не нахвалиться дитиною: „дотепний, каже, хлопець, розумний, повинен добре вчитись“; і сам учитель бачить по виду, що хлопець і справді не без розуму. Та минає місяць-другий, і хлопця й не пізнати: посидівши „тупицею“, робиться він якимсь затурканим, неначе переляканим дурником; замість відповіді плете всяку нісенітницю неможливо каліченою мовою. Промучившись отак, нарешті виходить дитина з школи, нічого не навчившись, з репутацією „тупоголового“ „тумана вісімнадцятого“, мовляв д. Франко. Часто й сама дитина вірить, що з неї й справді не що инше, як „туман“ і ще добра, як покинувши шкільну науку, скоро очунається від того удару, що ним школа зразу пригодишила була його розум, його розвиток, забивши паморожи в дитячій голівці непосильним тягаром. Буває й так, що з легкого почину в школі хлопець надовго вже й оста-

неться і в своїх власних очах, і в очах інших людей ні до чого нездатним, метямушим, і направити се не так то легко.

Звісно, багато сьому допомагає й те, що вчитель буває часто один на кілька груп дітей і фізично не може впоратися з усіма школярами; але ще більша вина надає на чужу, незрозумілу мову, що робить перші кроки дитині в школі дуже тяжкими; а тим часом, не зробивши перших кроків, і далі хлопець не піде, непосильний тягар зразу валиць з ніг дитину, приголомшує й атрофує природній хист і здатність.

Та не легка чекає доля в школі й тих дітей, яким пощастило навчитись читати й явні лишалися в школі. Зупинимось насамперед на першій книжці для читання, бо звідти доводиться брати мало не весь матеріал, яким користується вчитель, розвиваючи духовні сили дітей.

Як відомо, автори перших книжок для читання в народній школі, складаючи ті книжки, пильнують того, щоб з самого початку школяр бачив там усе знайоме йому, близьке. Для цього слова добираються з лексики звичайної сільської мови; в статтях оповідається про знайоме дітям близьке життя, про все те, що оточує дитину вдома: поле, життя хлібороба, демівка, рідна хата; за найкращий матеріал до читання вважаються народні казки, пісні, загадки, приказки; малюнки також добираються такі, щоб дитина, глянувши на малюнок, зразу бачила й розуміла, що намальовано в книжці. Мова байок, казок, приказок, пісень,— то рідна дитині мова, і все те знайоме їй з домашнього життя. Таким способом перші книжки до читання складаються для школи у Московщині. Що ж до шкіл народніх на Україні, то окремих підручників, пристосованих до українського народнього життя, немає, і українські діти повинні вчитися по тих книжках, що складаються для дітей іншої народности. Виходить, ніби й автори сих книжок, і всі служителі народньої освіти змовилися і признали, що загальні закони виховування дітей на українській народ „не розпростраються“.

Треба тільки поглянути на те, як відбувається вчення в народній школі по цих книжках, щоб уявити всю їх непрацездатність для шкіл на Україні. Тоді як дітям московської нації все, написане в книжці, рідне, зрозуміле,—українським дітям майже не на кожному слові—загадка.

Хлопець знає *хату*, а в книжці написано *изба*, а в тій ізбі і кругом неї все щось чуже, невидане: „полать, лучина, лукішко, колыбель, зипунъ, кафтанъ, сарафанъ, кушакъ, овинъ, гумно, прясло, клѣтъ, рига“ і т. и. На ілюстраціях намальовано теж усе чуже: „изба“ незнайомого стилю, чужа природа, люде в якомусь чудному вбранні, школярі в лантиках, з довгим чубом, зовсім не того типу, що звикли діти бачити в себе у селі; середина хати з московською піччю й „полатями“. На всіх цих малюнках не те, що бачуть українські діти, усе те чуже їм, далеко.

Читає хлопець у книжці: „Народная пѣсня“. Від учителя дізнається він, що то така пісня, яку співає народ, значить, думає собі, така, що може співають і в нашому селі. Але читає далі: „Сладко пѣлъ душа-соловушка“... або: „Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго вылетала стаюшка сѣрыхъ гусей“... „Разовьемъ мы березу“... „Какъ у насъ ли на кровельѣхъ, какъ у насъ ли на крашеной“... і т. и. і т. и. Чи хто з дітей чув коли, щоб у їхньому селі співав хто щось подібне? І в хлопця в голові виникає думка, що ті пісні, які співають у його селі люде, то не справжні народні пісні, а якісь мужичі вигадки, яких грамотному чоловікові не слід і соромно співати, і ввесь сільський знайомий йому люд з його життям, з рідною мовою,—то і не справжній народ, а так якісь собі люде. В інших же дітей непомітно заврадається в душу недовіря до книжки, бо вони не бачуть у їй правди і через се вже так і звикають дивитись на книжку, як на якусь дурницю, вигадку. І ті і другі, виїшовши з школи, все таки не стануть співати московських народніх пісень; замість, напр., пісні: „В неділеньку рано, як сонечко зішло“ ніхто не почує, щоб українська дівчина, або молодиця заспівала: „Выдала меня матушка далече замужъ“. В селі ви почуєте швидче вульгарні, фантастично покалічені романси, босяцькі та салдатські пісні,—ніж народню московську пісню. Доводиться часто помічати, що московські епітети та звороти мови противні українським дітям і дорослим нашим людям. Музика московського народнього стижа незрозуміла українцеві; московська муза народня незугарна викликати надхнення в душі українця; народні епітети московські, як напр.: „молодушка, разлапушка, касаточка“ то що прикро вражають ухо українцеві, і як ножем швребуть по серці. Немає, здається, в українських школах більшої кари школя-

рам, як загадати завчити на пам'ять кілька рядків з московського народнього епосу.

Поставте поруч української дитини московську і загадайте їм читати, наприклад, байку Крилова. В той час, як у хлопця московської нації при читанні вся істота говоритиме, як слова байки вимовлятимуться легко і плавно, в той час як він глибоко розумітиме і життєву правду байки, і красу народніх виразів,—у нашого українського хлопця читання виходитиме мляве, нудне, одноманітне; а коли читач спробує дати своєму читанню інтонацію, то зразу виявиться, що вона вимушена, завчена і не відповідає змістові; не помітите ви також у хлопця й зацікавлення тим, про що він читає.

Загадки, приказки, — а особливо загадки, — загадування і розгадування яких так до вподоби дітям,—а й ті не цікавлять дітей, знову ж таки через те, що вони „чужі“ і змістом і формою, викладсні незрозумілою дитині мовою,—всі вони здобуток чужої творчости.

Таким побитом виходить щось абсурдне, незрозуміле: ті елементи в перших шкільних книжках, що вводяться авторами книжок зумисне, щоб полегчити дітям науку грамоти, щоб не ривати школи з домівкою, щоб зробити книжку близькою до дітей,—всі ті елементи в народній школі на Україні являються найбільше незрозумілими, найчужішими, найнепотрібнішими і найтруднішими частинами книжки. Та ж поміч, яку могла б і повинна б дати народній школі на Україні багата українська література, марно гине на велику шкоду дітям і всій справі народньої освіти. Пояснити дітям всі незнайомі слова учитель не має ніякої змоги, бо таких слів знайдеться в кожній статійці стільки, що коли б учитель справді заходився усі їх пояснити, то в його не вистачило б часу на одні сі пояснення, а хоч би й вистачило, то однаково праця його пішла б марно, бо коли вести так звану „об'яснительную бесѣду“, то для цього треба, щоб слів було на раз узято двое-трое; коли ж їх у кожній статійці набірається десятків зо два, то не диво, що до другого уроку діти геть їх позабувають. Захажуватися ж знову коло пояснення незрозумілих слів ніколи, бо треба вчити й писати, і рахувати, та й не одну групу, а цілих три. Одже зрештою не треба, здається, великого досвіду, щоб зрозуміти, через віщо ми маємо такі сумні

наслідки з прищеплювання дітям освіти чужою, незрозумілою їм мовою. Давати освіту на незрозумілій мові й zarazом вчити тієї мови,—це значить, ганятися за двома зайцями і ні одного з їх не виймати. Коли б московська мова була в українських школах виділена в окремий предмет, то й діло дитячого розвитку і діло самої московської мови пішли б краще, бо тоді можна було б скласти якусь систему до вивчення її останньої.

Діти, цікавлячись книжкою, часто дома читають не тільки те, що задано на урок та роз'яснено, (хоч се буває дуже рідко, щоб наперед заданий урок учитель поясняв у класі), а читають і далі, що є в книжці, і все, що попадеться друкованого; читають і, звісно, дуже мало розбірають, а привчаються читати як відомий „Петрушка“. Візьмемо, наприклад, не довго шукаючи, кілька фраз з того матеріялу, який знаходимо на перших сторінках шкільних підручників:

„Буря мглою небо кроеть,
Вихри снѣжныє крутя“...

або

„Ямщикъ сидить на облучкѣ,
Въ тулупѣ, въ красномъ кушакѣ“...

Кому відомі таємниці слів: мглою, крутя, ямщикъ, облучокъ, кушакъ, той уявляє собі добре й картину завірюхи, і „ямщика“ на „облучкѣ“ і т. и. Яка ж картина постане перед очима української дитини, коли вона про слово „мгла“ думає, що то по-панському „могила“, слово „кроеть“ читає „кроїть“... „Буря могилою небо кроїть“... „Але ж як то можна кроїть могилою?—гадає дитина,—ножицями кравці кроють, то так, а могилою... та ще буря... небо?“ Зітхне бідне хлоп'я і вже без думок барабанить як у стінку: „Буря мглою небо кроїть, віхрі снѣжныє крутя“,—хоть, мов, не втямки, про що воно саме говориться, то хоч потішу себе гучним ритмом та рифмою.

В одній шволі фразу: „рука бойцовъ колотъ устала“ школяр завчив так; „рука бсцвой колотъ устряла“. І вже учитель як не силкувався навчити правильно читати сю фразу, а все-таки і на випускному екзамені хлопець читав: „рука боцвой колотъ устряла“. Коли московська дитина читає фразу: „Ямщикъ сидить на облучкѣ въ тулупѣ, въ красномъ кушакѣ“,—то для неї тут

усе ясно, як божий день, наша ж дитина в цій фразі нічого не розбере. Читаючи книжку чи то в школі чи дома, школяр не може спинятися довго на кожному незнайомім слові, бо то було б не читання, а „розшифровування“; щоб добре розуміти читане, треба добре знати значіння всіх слів, треба вміти перекласти в умі московські слова на українські, бо з усіма поняттями й уявленнями в українських дітей з'язані не московські слова, а українські; а коли багато слів і зворотів мови дітям зовсім незнайомих, і довго міркувати над читаним не приходиться, то з прочитаного хоч і впіймається шматочок якоїсь думки, або якийсь образ, але все те здається їм далеким, неясним. Ясною думки, ясною уявлення не вичитає ніколи український школяр із московської книжки, і поетична річ московських письменників чужа нашим дітям і не робить міцного вражіння на дитячу думку.

Одно з найголовніших завданнів школи—розвинути розум у дитині, розбудити в неї думку, зробити їх бистрими та гострими. Тим часом від довгого, безглузлого такого читання дитячий розум, його здібности не тільки не розвиваються, а, навпаки, притупляються. І хто вчителював—не як ремесник, а як справжній педагог,—той напевне помічав, що в дітей, зовсім неграмотних (у нас) думка далеко яскравіша, далеко жвавіша, ніж у дітей, що побували в школі й довгий час попросиділи над книжкою.

Тепер подивимся, як в українських школах виховується „дар слова“ у школярів. Хто прислухався до мови письменних людей-українців, що мають звичай балакати по-московському, той певне знає, якого „краснорѣчія“ навчає московська грамота. Вживання слів не в тім значінню, що їм належить, грубі помилки в зворотах мови і в наголосах, курйозна мішанина слів московських поруч з українськими,—все це робить „русскую рѣчь“ українця не тільки чимсь смішним, а й безглуздим, так що не зразу й зрозумієш, про що саме людина хоче сказати і хіба тільки догадаєшся. Те ж саме, тільки ще в більшій мірі, можна бачити в народній школі. Переказувати прочитане, рішати завдання, розмовляти з учителем школяр повинен зразу московською мовою, яку він іще мало чув і в школі. Картина урока од цього виходить якась дика, безладна. Стоїть школяр перед учителем, уші почервоніли, піт струмками залива йому лице, а він белькоче: „взъ этого числа вичистить ето“... або: „вонъ бачиль... солоей какъ запоёлъ“...

Учитель намагається поправляти безглузду „руську рѣчь“ школяра; школяр хвилюється, жили напружились йому, лоб зморщився, очі збараніли. Кожне слово родиться у його на світ у муках та потугах. Видко, що десь там у його глибоко трепещеться жива розумна думка, видно, що дитина з усієї сили працює розумом, щоб висловити її, але ж вона не може того зробити, бо не має ні звички до вимовляння московських слів, ні запасу їх, і в голові в неї повинна разом йти дуже складна робота: пильнувати свої думки, висловляти її собі по своєму, а потім шукати у своїй пам'яті московських слів і перекладати свої думки на московську мову. Коли ж ще до цього хлопець дотепний і має жвавий розум і хист, то жаль тоді дивитись на його, бо більше муки світиться в його очах. І така нудота тягнеться в школі день-у-день цілі місяці, роки. Нарешті діти звикають до неї і вона робиться чимсь звичайним, і тільки учитель вступить у клас, почне урок,—обличча в дітей зразу переміняються: на їх з'являється вираз тупости та глупости, немов увесь клас зібрано з недорік, зайк та з ідіотів. Але тільки учитель забалакає з дітьми про близьке їм життя їх рідною мовою,—і немов свіжий вітерець пройде по дитячих обличчях: вони спершу здивовано переглянуться, зморшки з заникуватих на обличчях починають розглажуватись, з-під лоба починають блищати ясні розумні очі, з дитячих уст чуються дотепні речі, жваві й веселі, навіть рухи в дітей стають вільніші, і здається, що з їх плечей тільки що скинуто важкий тягар, який не давав їм ні говорити вільно, ні думати. Ще помітніше переміняються діти вийшовши з класу на передишку: самі безнадійні, безсловесні „тупиці“ в класі, на дворі, на волі вмить робляться самими бідовими й самими гострими на мову.

Нам відомий такий факт. У одній народній школі між школярами з'явився чудовий оповідач казок, байок, усяких випадків із сільського життя. Тільки, бувало, з'явиться він до школи, як зараз біля його школярі збираються в кружок і він починає про що-небудь оповідати. Діти очей з його не зводять і роти пороскривають. Уже й учитель увійде у клас, а вони, мов зачаровані, не одходять од оповідача, і тільки після того, як вже учитель озветься, вони з неохотою розходяться по своїх місцях. Сей хлопець на уроках довго та вперто одстоював свою мову перед учи-

телем, розмовляючи з ним рідною мовою, поки таки в кінці шкільного курсу пододала московська мова. Перейшовши на московську мову, хлопець цим самим сам підписав смертний вирок своєму талантові гарного оповідача. Нудно стало слухать його. Хто ж позбавив хлопця початків його таланту? Видимо, що чужомовна школа, бо вона перша прищепила молодій душі погорду до рідного слова.

Візьмемо людей, що вчилися не тільки в народній школі, а й по вищих од неї, хоч би й самих народніх учителів, що вийшли з самого народу і змалку говорили рідною мовою. Говорити легко московською літературною мовою (про акцент ми вже й не кажемо!) не можуть вони. Кілько б не положено було праці, все таки вкраїнці чистою московською мовою не будуть балакати, так само, як не можуть навчитися розмовляти по-українському і московці, навіть і ті, яким доводиться мало не увесь вік прожити на Україні.

Таким чином виходе, що навіть найкраща „обрусительна“ школа на Україні все ж є—ворог народові, бо вона одрива людину від рідної мови, калічить її, гальмує розвиток народнього ума.

Не краще діло стоїть і з писанням у народніх школах на Україні. Навіть тепер уже не криється ні шкільне начальство, ні сільські учителі з тим, що вони найбільш пильнують того, щоб сільська школа тільки хоч навчила писати сляк-так диктовку, а про те, щоб хоч трохи навчити дітей висловляти свої думки,—про те, мало кому з учителів народніх і на думку спаде, бо вчителі ледве справляються з диктантами. Мертва та тупа праця ся і вчителеві, і школярам справдешня мука. Учитель кидається на всі боки, щоб навчити до екзамену хлопців правильно писати московські слова. Слова вже й діктуються так, як пишуться, а не вимовляються; в ход іде навіть міміка та жестикуляція,—одно слово учитель рад би і в душу, і в голову вскочити дітям, щоб школярі „вивезли“ на екзамені. На екзамені часто можна бачити, як учитель із-за спини асистента, „на мигах“ показує, як пишуться слова, а все-таки діло йде не до ладу.

Не краще стоїть справа і з граматикою московської мови. Удержатись у голові в українських дітей вона ніяк не може і одскакує від дитячого мозку, як м'яч од стіни. При цьому можна спостерегти якесь чудне психологічне з'явище: свінчивши школу діти

мимоволі не тільки не силкуються вдержати в голові завчені правила граматики, а ніби навмисне викидають їх з голови, як якусь зайву вагу. Вже навіть і тоді, як діти прийдуть по „свідѣтельства“, і починають розписуватися, що одібрали їх, зразу виявляється, що вся граMATика пішла „шкеребертом“: діти роблять помилку за помилкою, аж поки вчитель стане проказувати, як писати слова.

Коли ж здумає учитель дати дітям самостійну роботу по писанню, щоб написали свої думки про що-небудь, або дати просто „переложеніє“ статійки,—то діти жорстоко посміються над усією працею вчителевою і над граMATикою: на бумазі будуть висловлені не логічні думки, а така каша, в якій дуже трудно розібратися. Найвигадливіша, найбуйніша фантазія не вигадала б навмисне таких граMATичних помилок, таких диких зворотів, які зустрічаються в самостійних роботах школярів, і в учителя серце стискається від болю од спроби завдати таку роботу дітям.

Та воно инакше й бути не може. Писати самостійну роботу, в якій повинен виявлятися творчий дух дітей,—це зовсім неможлива робота в українських школах: у ту годину в дитячий голові відбувається такий складний, такий трудний процес, який здався б не по силі й дорослому чоловікові, а не то що дитині. Не легка праця на перших порах у школі висловляти на папері свої думки навіть рідною мовою, а коли до сього треба ще свої слова перекладати в умі на московські, шукати тих московських слів, пригадувати вивчені правила граMATичні, то зрозуміло, чому такі „самостійні роботи“ скидаються иноді на балаканину напівбожевільних людей.

Нашому селянинові небагато і нечасто в житті доводиться писати; всі такі випадки можна перелічити по пальцях, і найважніший між ними—то писання листів. Прошеніє в суд, яку небудь росписку, вексель,—все те пише сільський або городський адвокат; лист же, то така річ, що коли грамотний, то повинен уміти написати. Перший раз тут український грамотій зустрічається з таким випадком, де він мусить самостійно творити, прикласти до діла свою грамоту, але тут же зразу виявляється, що він нездатний навіть до такої невеликої творчості. Тут до помочі приходять вироблений уже в казармах московськими унтерами, усім відомий безглуздий шаблон сільського листа. Вся

Україна, всі її села міцно схопились за сей шаблон, передають його з села в село, з роду в рід, як якусь релігійну формулу, що від початку та аж до самісінького кінця складається з довгої низки „поклонів“, на взірць якоїсь ектенії, з додатком кількох слів про погоду та врожай.

Треба стане коли написати чоловікові листа до сина, що в салдатах або так де на стороні, описати своє горе, злидні та нужду, або попрохати помочи,—московську мову, що учився колись, давно вже забув: не до того йому в житті, щоб франтити панською мовою. Бере перо в руки, і бажається йому, щоб у той лист перелити своє горе, свої жалі: кривавими сльозами, здається, писав би ті стрічки, але як писати? Зморщується чоло, пригадуються колись знайомі московські слова. „Во первых строках лубезний мой сын уведомляю“... і так далі... І добре, коли хоч на кінці зуміє він приписати що „ишо уведомляю тебя, що ми горюємо з твоєю мамашою“.

Читаєш иноді такі листи, і ясно почувается, що неповинно бути тут міста московській мові, що тут своє життя, своє горе, які мають бути висловлені рідними словами, а замість них стоїть якась нісенітниця.

Иноді шаблон не задовольняє людину, особливо коли їй бажається висловити в листі особливі мочуття. Але це незадоволення з шаблону і бажання знайти інші форми, щоб вкласти в їх свої почування, ставить і автора листа, і того, до кого лист адресовано в глибоко комічне становище.

Автору цих заміток довелось читати лист від москаля, що служив у військовій канцелярії, до своєї матері. Шаблон салдатських листів, видимо, його не задовольняв і він хотів написати „делікатніше“. В листі до своєї старенької матері, сільської бабусі, він списав мало не цілком з „Письмовника“ (то б то: з листівні) палкий лист до коханої. „Кумирь моего сердца!... моя безумная любовь къ вамъ огнемъ зажгла мою кровь... Цѣлую въ сахарныя уста“... В кінці стояло: „вѣрный до гробовой доски сынъ вашъ Никита Петровичъ Шаповаленковъ“. Далі йшов докладний його „титул“. Слухала бабуся той лист, і сльози струмками котилися по виду її. І жаль брав і смішно було. Далі згорнула бабуся той лист у папірець і заховала близько коло самого серця.

Що на Україні не можна побачити селянського листа рідною мовою, більш усього скидають на те, що народ гербує своєю

мовою. Це неправда: гербують нею більше ті з українських селян, що побували по Одесах та Ростовах, та що терлись біля панів та полупанків. Селяне ж, що живуть своїм сільським життям, не цураються своєї мови, і певне у своєму житті, між своїми близькими вони листувались би рідною мовою, а надто в тих випадках, коли треба висловити щире яке почуття, або розповісти про якусь важну в домашній обіхідці справу,—та біда, що людям і на думку не спадає писати рідною мовою. Вони знають, що письменства вчать по московському, а письменства рідного, рідною мовою для них немає: рідна мова у них існує про себе, про домівку, то тому й пишуть вони по московському.

Як могли б писати українці листи рідною мовою—видко буде з поданих далі спроб таких работ у народній українській школі. Мусимо наперед сказати, що вкраїнською мовою школярі писали вперше у своєму житті. Діти трохи знайомі були тільки з українською літературою по „Кобзарю“, „Вінку“ Білоусенка, та по байках Глібова. Для самостійної роботи дано було переказати своїми словами деякі московські та українські байки, маленькі статійки. Деякі з цих переказів ми для прикладу наведемо тут так, як вони були в оригіналі.

„Былына“.

„Спытавъ разъ кущъ былыноньки: чого ты така якъ рыбонька въяла, и пожовтила и не цвѣтешъ. Былынонька каже, оттого, що я на чужбыни“.

А оце маєте переказ того ж таки автора, дівчинки 3-ї групи, тільки вже мовою московською.

„Былына“.

„Спросилъ разъ кущъ былыноньки, чого ты така какъ рыбонька въяла, и пожовтила и не цвѣтешъ. Отвѣчае Былынонька, оттого что я на чужбыни“.

Робота школяра 3-ї групи, 12-ти років.

„Старшына“.

„Зибралы люды старшыну. Отъ новыи старшына и запышався. Разъ винъ сыдивъ на рундуци и побачывъ, що хто-то йиде сыломъ и гукнувъ старшына на свого небожа и каже: пиды спытай, що то за птыця ѣде (на сьому слові було багато у хлопця показреслюваних виправок) мойымъ сыломъ. Хлопецъ побигъ доганять, пыдождить? Стало. И каже: чого тоби треба. Мене пославъ

старшына, щоб я узнав, що ты за птыця. Пиды скажы, шо дурынь вашь старшына и дурень ты. Пойихавь, а хлопець пишовь до старшыны. А шо, хто-то? Та якыйсь знакомый шо вась зна и мене зна. Та якь же винь зна. Та такь шо важе шо вы дурынь и я дурынь“.

Наведемо ще один переклад з московської мови на українську. Автор—теж школяр з 3-ї групи.

„Вовкь та баба.

Вовкь шукавь соби попойсти. На кинци хутора в одній хати винь почувь шо баба казала на дытynu на ту шо плакала. Цыть ато выкину вовкови.

Вовкь ставь тай жде. Наступыла ничь. Вовкь все жде колы ему дадуть хлопчика. Колы ось чує баба каже: не плачь я не оддамь вовкови, хай тилько прийде, то я его лозыною.

Вовкь подумавь выдно туть кажуть одно, а роблять друге и пишовь геть одь деревни“.

Хто стоить близько до наших народніх шкiл на Україні, той певне згодиться, шо ніколи так добре не напишуть наші школярі по московському, хоть учаться вони цео мовою по три то по чотири роки, а ці спроби писати по-українському—перші в житті їхньому.

Здається ніякій теперешній школі і в вісні не примаряться ті наслідки, які б були, коли б у школі вчили писати по українському всі три роки. Уже з цієї першої спроби видно, як легко могли-б школярі владати рідним словом на письмі, як вільно викладали б вони на письмі найскладніші розуміння. Про те вже нічого й казати, шо сталося б з самої тії мужичої мови, коли б увесь народ поведено була до вищої культури за поміччу його рідної мови, коли б народню музу було викопано з під московського попелу! А вона ще не згасла на Україні, в самій глибині сіл, там де б'ється саме живчик української народности, там б'є джерело національної творчости, якому не дають вирватись на світ божий усякі ніби то просвітні „учреждения“ на Україні.

Недавно в Київщині був такий випадок. Одному зовсім неписьменному селянинові спало на думку написати анонімного листа до поміщика, щоб у показаному місці той поклав 300 чи 200 карбованців, а то буде спалено окономію. Як виявилось потім, писав листа син того селянина, школяр, із слів самого селянина.

Готового шаблону для такого роду писання немає, і довелося селянинові самому творити, будити в собі приспаний дух народньої української творчості. Лист був написаний на той зразок, як складаються українські пісні та думи. Копія з того листу, на жаль, загинула, але я пам'ятаю, як кінчався той лист:

Неси, пане, гроші скоренько та тихо,
Бо буде тобі, пане, великеє лихо.
Іде пан, поспішає,
Аж спотикається.
До дуба несе гроші скоренько
Та ще й озирается,
Щоб ніхто й не бачив...—

Скільки вже років проводиться обмоскалювання, але цілий край, великомілійоновий люд, живе тим, чим жив давно вже. Обмоскалювання порушило народність тільки зверху, а сама народність іще ціла, жива, і скільки то мусить минути віків, щоб здолали вони вбити той великий народ!

Кажуть, що робиться тее в ім'я культури. Але яка ж то культура, що не пускає вільно світу до людей? Народ темний, забитий і йому треба передніше не московської мови, а світу більше, хліба його насущного, і той світ повинен доходити до народу простою натуральною стежкою, а не через каламутне скло московської мови. Не треба довго придивлятися, щоб побачити ту сумну будущину, що дожидає наш край, коли справа народньої освіти й далі йтиме тими манівцями, що й досі йшла. Хоч і як бралась би та працювалась Україна, щоб у своєму розвиткові не зостатись позади інших народностей, але мусить остатись, бо умови розвитку нерівні; кому не треба вчитись чужої мови, щоб розвиватись, той певне швидче йтиме, ніж той, кому спершу треба забути рідну мову та навчитись иншої, а тоді тільки йти до освіти. І коли ми хочемо, щоб цього не було, щоб пишним цвітом процвіла творча сила нашого народу, щоб добрим робітником був він на широкій ниві світового життя,—мусимо з усеї сили дбати, щоб перестали вже нарешті калічити духовний образ його, щоб знято *зовсім*, у *всіх* напрямках знято пута з його слова.

С. Панасенко.

На страшний суд.

Оповідання.

— Чи правду, батюшко, кажуть, що суд губерський страшний?

— Через що?

— А як же вам здається?... Кажуть люде, що самі судді страшні, і скрізь у суді червоним застеляно, як кров'ю залито, а осторонь за ґратками стоять москалі з рушницями і виноватці брязкотять заковані у кайдани.

— Це правда.

— Ой, не думала я суду того бачити ніколи... І вечір і рано просила я Господа: „Дай мені, Господи милосердний, сидіть у своїй господі тихо й мирно, без судів, і діток моїх постав на таку ступень, щоб і вони не були ні по яких судах!... От же, тепер не видержу. Іспишіть мені все чистенько, що я казатиму, іспишіть на бомазі, як сами знаєте, а я візьму той папір, піду в суд, покладу той папір на голову та й упаду навколюшки перед тими страшними суддями. Не видержу я тепер, побачивши, як б'ють мою сестру, кров мою рідну, б'ють боєм великим, непереможним. І прошу вас, батюшко, написати усе до крихточки—ось вам і карбованчика принесла—через те прошу ісписати усе: мо' я чого не висловлю, мо' не посмію, мо' й не збагну всього. Нехай прочитає суд ту бомагу, та тоді вже й судить, як сам собі схоче... От-же таки слухайте гарненько, щоб гарно списали!...

— Добре,—я слухаю. Кажіть!

— Двоє нас сестер: я та Уляна. Зросли ми в брата, бо рано zostались сиротами. Разом ми росли, мало не разом і заміж повиходили, та не один талан нам судила доля. Мій чоловік, благодарить Бога, плохий, і я того бою за вік свій не бачила. Став оце син балуватись: по вечорницях ходить, дівчатам та московкам горілку та пряники купує, то я й кажу своєму ста-

рому: „дав би ти йому прочуханки доброї!“ А він: „Мене батько не бив, то я хочу, щоб і мій син виріс не битий. Я й так батька слухав“. То так ми й вік живемо: тихо та любенько.

От же зовсім инша доля спіткала Уляну.

Сватав її удівець—гарний чоловічок. Так ми з ним гостювали залюбки, по чарці пили... От же не схотіла йти на чужі діти. Полюбився їй, бачите, Улас. Ну, нема чого казати, гарний з себе він був, Улас. Лице таке повне, червоне, високий і дужий на всю Плахтянку, а до того ще багатирський син. Закохалась, та й затопила свою безталанну голову.

Наперед усього не злюбила її свекруха. І так не злюбила, що й Господи!

Минув який час; став Улас укидатися в горілку. Уляна йому не мовчить, а тут мати їсть її, як иржа залізо, і чоловіка нацьковує. Не стало у них добра зразу. Сем'я велика: старі, трое синів, роботи до смутку, а вони ще в комерцію вкидалися: держали шинок громадський, лавку, а найбільше гендлювали лісом, бо так спроможніше його були красти. Саме тоді се було, як пани у всій околиці завзялись його рубати і поруби були скрізь, куди не глянь, а стерегли той ліс свої ж селяне. Усим керував старший син Гордій, хитренький він такий, улесливий, а до того ще й грамотний, а Улас так був чоловік наський—нічого не хитрий, ну, дужий без міри. Напува Гордій громаду, бере ниви у заставу, покоси, дає гроші на великий зиск, а хто йому не до вподоби, то зараз на Уласа:

— Возьми його, братко!..

А той і почне трощити чоловіка, іноді й сам не знає за що. Гордій за те йому горілки до-схочу.

Так і жили брати любенько: в одного голова, а в другого кулаки, і було обом по який час добре.

Одного року перекупив наш селянин Царенко на торгах громадський шинок, а на Мироновому кутку поставив Гапула нову крамничку. Пішли грошики мимо Гордієвого капшука. Що ж він надумався? Завзявся напувати горілкою Уласа, та ще двох безубитних п'яниць. Підмовив, так вони однієї ночі запалили шинка. Шинкарь похопився вискочити, а якийсь подорожній спав під лавкою, то там і згинув: самі кістки однесли на могилки. Чуємо через тиждень уночі гвалт, на пожежу дзвонять...

А це запалено знову й хату Царенкову, та ще й так раптово запалено, з двох кінців, що Царенки ледве з душами сами вискочили, а добро яке було, погоріло все.

Тут уже громадяне не потаїли їх, виказали, бо знали добре й раніше, хто запалив, та кожен боявся за себе. Такого страху нагнали тоді на людей, що Боже! Ми сами з хазяїном боялись ночувати у власній хаті. Склали все збіжжя на вози, та він спить на тому мушестві, а я з дітьми на сінешному порозі. Отак по-циганському жили ми тижнів зо два, аж доки їх заарештовано. От же зрадник Гордій зостався дома. Навіть і допиту йому не було жадного. Тих же трьох паліїв заслали на поселеніє до живоття. Заслали з ними й Уляниного чоловіка, Уласа.

За чоловіком нагорювалася, а це вже восьмий рік іде, як вона бідує сама з чотирма малими дітьми.

Улітку, то день-у-день, від ранку до пізнього вечора, Уляна на роботі. Чи жнемо, чи біля картопель пораємось, то бачимо ж одна одну. Знаю я її житку добре! Вийдеш на поле, поспішаєш раніше, а Уляна вже он скільки зробила! Працюють працює, спини не розгинаючи, як кріпачка, а за столом нема їй місця. На полу вона їсть з своїми дітьми й сиплють тим сиротам безчасним, з ласки, зливки, що зостаються, достоту, як у пнів наймиці, або як у людей собаці. Такі багатирі, а повірите—свитинки не справлять дітям. Льон на сорочки, то вона просить і хазяйки дають їй жменями. Прийде до мене холодна й голодна. Візьме хліба укусить і не бере з столу, а нишпорить по полицях, чи нема де цвіленького окрайця. Нема ж і в нас зайвого шматка, і ми ж гірко працюєм і на себе й на дітей. Певне, даю я їм запомогу, бо вони ж горіші від старців. Даю, батюшечко, та й озираюсь, бо не сама я господарка, є ще у мене й чоловік. Чи так, чи не так, а вже ж якось таки вона жила до цього року, а цього року на провесні стало їй далеко гірше, як її чоловікові в Сібіру. Перебрались вони на провесні у нову хату, а Уляну з дітьми кинули в старій.

— Живи, як знаєш!

І нічого тим сиротам не залишили: ні дров рубанця, ні відеречка, ковеню й ту забрали. Ні діжки ні борошна,—казано, нічого! сенько!

Послала я своєю дівчиною Уляні хліб на новосілля.

— Неси, доню, під полою, та від усіх крийся, щоб і батько часом не дізнався, бо буде нам, та й вийдеться.

Я дала картоплі, брат хліба, так і жила вона цілу весну з людської ласки. І та житка стояла більмом у оці Гордієві та й усій родині. Вони думали, що вона опухне з голоду, а що хтось їй запоможе, те й на думку їм не спадало. Що ж ви думаете?! Були у Гордія пирожини, після провід. Наструнчив Гордій свого меншого брата,—теж розбішака не послідній—напоїв його горілкою, і бачимо, виймає він з кишені великого складаного ножа та й нахваляється:

— Ой, хтось заграє на цьому ножі!

Оце таке каже, а й до чого воно, нам і не в гадку.

Розійшлися ми по доброму. Коли це в глупу ніч счинився гвалт. Прибіг той парубічка до Уляниної хати, стукає в вікно й кричить:

— Відчини!

Перелякалась вона—мовчить.

— Відчини, бо закипиш на ножі!—Та й почав ламать вікно.

Вона тоді прожогом у двері, та й прибігла до нас. Що ж ти поробиш? Не прогнать же, своя кров—не чужа!

Відцуралась Уляна своєї хати; почала перебіратись до брата, то ніхто не хтів і скрині перевозить, усяке боїться паліть, та спасибі вже Грициха, спасенна душа, обстоїла її, звеліла своєму чоловікові, бач, він її слухає,—то той уже витяг за півкарбованця скриню й подушки з тієї пустки.

Поростикала вона дітей по людях: кого в пастухи, кого в няньки і стала жить у брата, а посередникові довела прошеніє, щоб її дітям визначили опекуна. Прийшов старості приказ, по тому прошенію, зібрать на дев'ятника сход і опікуна їй визначить.

Сидимо ми з сестрою на самісенького дев'ятника у моїй хаті і балакаємо про всячину, а найбільше про дітей.

Коли це хтось стук у вікно: глянула я, а то десятник стукає у шібку ковінькою:

— Іди-ступай на сход, визначай собі опікуна,—це він так Уляні каже.

Почула Уляна те слово, зблідла, затрусилась уся, немов-би серце їй віщувало.

— Оце вже смерть моя, сестрице, серце у мене замерло, жисті моєї край.

Це вже суд мій піднімається.

Страшно їй проти роду настернятись, та й жила вона завше під трепетом великим. Виговорила вона ті слова, заплакала гіркими та й подалась на село.

Пішла вона, а я метнулась по хазяйству. Ні, не йде робота на думку, бачу, не впиню себе. Піду, думаю, й я туди, куди кров мою погукали...

А на сході людей! Гудуть, як бжолі—чоловіків багато, а бабів ще більше!

Зібралась громада, староста й гукає до Уляни:

— А йди, Уляно, наперед громади! Укажуй сама, кого ти визначиш за опікуна своїм дітям.

Люде стишились.

— Мені,—відповідає вона,—всі люде добрі. Мусій, сусід їх близький, того я прошу поклоном низьким стать моїм дітям за батька. Він усю нашу жисть знає.

— Якого тобі треба опікуна?—Це вискочив з громади свекор.—Які він злидні буде опікати? Я не дам твоїм дітям ні шнура землі!

І почав він говорити. Правди трохи скаже, а потім бреше. Сто, може, він слів сказав, і на ту сотню ще дві сотні, і ніхто йому—ні слова.

— Вона,—каже,—й так пекла нас сімнадцять років, а це хоче допекти до краю. Хиба не знає громада, що я витратив п'ятсот карбованців, заки віддав її чоловіка на казенну пайку.

— На віщо ж ви, тату, витратили ті сотні? Хиба я не знаю? Зашлїть і мене за ним, або що хотя зо мною робїть... Треба ж мене кудись дїть?... Я буду казати по правді, бо я знаю куди стеряли ті гроші... Ви ж моїм чоловіком цькували на людей, як псом поганим. Ви на те теряли гроші, щоб зостатись дома та щоб на моему дурневі все окошилось. Свідкам ви платили, урядникам платили, то чим же тому я винна? Хиба я палила? То Гордієве діло!...

Тут де не взявся Гордій, невидимо з громади виступив, а до того часу хто його знав, де він і був, не бачила я його.

— Дак я палив?

— Ні, голубе, ти не палив, ти підкупляв!...

Лусь він її під ухо, лусь під друге, так вона й покотилась покотом.

— Старосто, старосто!...—скрикнула тільки, а старосту того давно вода вмила, сховався по-за людьми. Кинувся на неї Гордій звірюкою. Бив і топтав здоровенними чобітьми скрізь: по грудях, по животі, і ніхто з громади не озвався, ніхто не оступився за нею, а було самих мужиків дев'яносто чоловіка, а бабів то ще більше...

Лягла я спати уночі, після того бою, а в мене думок!... Та думка туди, ця сюди... От, думаю, покарав мене Бог! цілу ніч очей не заплющила, так і сонечко мені зійшло.

— Слава Тобі, молюся я тоді, показавшому нам світ!...

Прогнала черідку, та аж тоді вже заснула.

До сестри не йду і не шукаю її, бо мені сказано, що вона пішла в город до посередника.

Коли це біжить її, Улянина дівчина.

— Тітко, звали вас мати, тяжко слабі, може й помруть. Прохали, чи нема у вас кумфорної масті, бо на колючки їх узяло.

— А нема ж у мене масті, моя дитино, нема нічогісінько! На двадцять копійок, купи своїй матці пляшку пива, а здачу доручи їй, а я не прийду, бо не допоможу нічим, я сильно стревожена.

Не пішла я до сеструхи, а серце в мене кипить!... Побігла я до старости. Найшла його коло пивної і людей біля нього стоїть чимало.

— На що ви,—кажу,—визвали Уляну з моєї хати на бій такий? Візьміть тепер двох чоловіка, побачите її, та піднесете сумленіє, як суд буде.

— Везіть її сами до лікаря, нехай лікар пересвідчить, які там у неї поболі.

— Ні, господин старосто, я не повезу—ви везіть, бо ви з моєї хати її забрали. Тепер я на вас жалюсь. У вас соцький, у вас десятників десять і ви не могли її оборонити?

— Я пішов саме тоді питать Мусія, чи згодиться він за опікуна бути, я нічого не бачив.

— Люде бачили! Ось і ви, дядьку Куделе, бачили...

— Мене не пишть. Я нічого не бачив...

Боїться, бо тож багатирі, їх не обминеш, за ними випас, і землю панську роздають—усячиною вони керують. Спасибі вже Ілько підніс совість.

— Пишіть,—озвався,—всю громаду, вся громада бачила!...

Два місяці каменем вилежала Уляна в брата. Ну, як підвелась трохи,—пішла до урядника. Покликали туди й Гордія. Урядник до неї: „клади!“ і пучкою показав на стіл. Поклала вона півкарбованця. Вислухав він її любенько, а потім і на Гордія:

— Клади!

Поклав Гордій при ній же три карбованці на стіл. Вислухав і його урядник, а потім вилаяв обох та й попроганяв, а діло прекратив.

Подавала жалобу й до слідувателя.

Покликав її слідуватель у волость за 18 верстов. Дала я свідкам по півкарбованця за робочий день і поїхала з нею на той дослід. Погукали її до слідувателя, а Гордій на самий перед побував уже там. Стала вона жалітись слідувателю, а він регоче.

— Де ж твої,—питає,—побої? Покажи свої урази! Ти ж кріпка, як камень.

— Нехай мене дохтор огледить, прошу я вас!

— Що ж, жінко! Нема тепер дохтора, приїде тижнів через два, та твоє діло не повезе, бо в тебе нема побоїв!...

— Ой, бито же мене, тяжко бито! Свідків спитайте...

— Такий твій, жінко, талан! Коли б він з тебе кишки випустив, або руки-ноги попереламував, то було б діло чогось варте...

Було йому сказати: а як би вашій жінці такий талан!...

То так і не повезло її діло. Оце недавно кликали в другу волость, уже саму її, без свідків. Був там і дохтор, білий, як яблуна в цвіту, а слідуватель молоденький, той самий. Покликано її на ранок, дохтора вона побачила о-півдні, тільки не оглядав він її овсі. Глянув:

— Ти, каже, здорова на всьому—ступай!

А слідуватель нагукав її аж увечері і так лаяв, так лаяв, Боже!

— Дурна ти, та ще жалієшся! Хиба ти скляна, що тебе не можна побить? Вас же чоловіки завше б'ють!

— То тож чоловік, а це кат зна хто!

— Який тобі дурень прошеніє писав?

— Та хиба ж там неправда яка, чи воно не так написано?

Так розсердився, аж ногами затупотів. Такий! Там до його дівчинку жінка приводила й жалілась на одного чоловіка, а він каже: „то мо' вона на корч настромилась!“ Глузує та й годі...

Спишіть же оце все, батюшечко, спишіть, та подам я всю правду на той страшний суд,—а, може, таки він розсудить?... Чи й там оборони не буде?

Лісак-Тамаренно.

З російського життя.

Значіння Думи.—Невдатна спроба скласти коаліційне міністерство.—Репресії і наслідки їх.—Ексцеси революційного руху.—Питання про диктатуру.—Закон про „военно-полевые“ суди.—Міністерська програма реформ.—Законои 12 та 27 серпня і 19 вересня.—Слово і діло.—Смерть Трепова.

Два з половиною місяці минуло від дня, як розпущено першу Думу, а тим часом і по сей день думки й почування всього свідомого громадянства цілих десятків націй, з яких складається держава російська, несамохіть кружляють і будуть кружляти біля будинку Таврійського палацу до того часу, поки в йому знову зберуться заступники народу на спільну працю. І немає сили, що здужала б порвати ті невидимі ланцюги, якими приковано думки і почування народу до непривітного будинку першого парламенту в Росії, а тим більше розвіяти їх у-нівець. Занадто дорогою ціною, ціною багатолітніх невірницьких кайданів, ціною життя й крові великого числа борців за волю й щастя народу куплено було той перший парламент „імперії народів“. Здобутий такою дорогою ціною, перший парламент за 72 дні свого існування вів спонцентрувати на собі думки громадянства не через те, що він спромігся дати щось користне і цінне тому громадянству,—бо за такий короткий час не легко було це й зробити,—а через те, що він був символом думок, бажаннів, мрій і домаганнів багатьох поколінів мільйонів народу, виснажених невірницьким життям під берлом автократії. На Думі сконцентрувалася увага всіх, бо в їй бачили перший і єдиний орган, за поміччу якого повинні були знайти свій вираз і здійснення сучасні політичні, економічні і соціальні ідеї й домагання, що до сього часу мусили перекирватися й таїтися по всіх усядах, не сміючи виступити отверто й прилюдно. І бюрократія добре розуміла значіння Думи, як поворотного пункту в історії громадсько-політичних відносин у Росії, од якого вже вороття немає і бути не може. І хоч

уряд розпустив перший парламент не так, як се робиться по конституційних державах, про те не зважився скасувати заступництво цілком і хоч не de facto, то принаймні de jure вернути знову до самодержавства. Ще й надто: уряд, устами свого прем'єр-міністра Столипіна оповістив, що „правительство проникнуто твердимъ намѣреніємъ способствовать отмѣнѣ и измѣненію въ законномъ порядкѣ законовъ устарѣвшихъ и не достигающихъ своего назначенія“ і що „старый строй получитъ обновленіе“.

На жертву громадським домаганнямъ віддано двох міністрів і почалися розмови з дд. Шиповим, гр. Гейденом, Гучковим, Стаховичем та Львовими, щоб залучити їх, як громадських діячів, до кабінету. Се зробити не пощастило і прем'єр-міністрів здалося, що він мусить оповістити Росію, через що саме йому не пощастило залучити до себе в співробітники громадських діячів. І д. Столипін оповістив, що хоч „общественные дѣятели и солидарны съ министерской программой, но комбинація съ ними не состоялась по причинамъ лежащимъ внѣ воли послѣднихъ и правительства“, а з другого боку,—що „общественные дѣятели не вошли въ министерство только потому, что считали полезнѣе свою дѣятельность въ качествѣ общественныхъ дѣятелей“. Але „общественные дѣятели“ гр. Гейден, кн. Львов і д. Шипов видрукували листи, в яких одверго заявили про свою несолидарність з програмою кабінету, а також і про умови, на яких вони погодилися б уступити до кабінету: не менше, як 7 міністерських портфелів і видання нового офіційного повідомлення про заміри уряду, що до реформ. Замість семи портфелів їм було пропонувано тільки два; що ж до оповіщення урядового, то їм сказано було, що уряд і без того має твердий замір заводити реформи. Натуральна річ, що громадські діячі, навіть такі як Гучков та Н. Львов, не зважилися увійти в склад такого кабінету, а „предпочли остаться въ рядахъ общественныхъ дѣятелей“. Безперечно, що на результати заходів п. Столипіна скласти коаліційне міністерство вплинули також і події в Кронштаді, Свеаборзі, на крейсері „Память Азова“, то що. Міністерство лишилося в беспорядковому становищі, безсиле і самотнє серед бурхливого моря революції, не запобігши ані найменшого довірря до себе навіть серед тої частини громадянства, що ніколи не спокуюшалася сходити на бік з шляху лояльності.

Та на інші відносини до себе міністерство ледві чи й могло сподіватися. Обіцянка його „неуклонно йти путем реформ“, та „обновлять старий строй“ навіть у найімовірнішого „обивателя“ російського нічого більш, окрім гіркої усмішки, не викликала, бо й сліпому було видно, що „реформи и обновленіе стараго строя“ ніяким чином не можна погодити з міністерством „роспуска Думи“, і з його погрозами „неустанно бороться“ з революцією, дарма що в урядовому оповіщенні до генерал-губернаторів та губернаторів їм нагадувалося пам'ятати, що уряд веде боротьбу „не съ обществомъ, а съ врагами его“. І немовлятку в Росії вже навчилося за останні часи розуміти, що проводить „реформи“, хоч би вони були й „разумныя“, та „обновлять старий строй“ без заступників од народу ніяк не можна.

Та коли б навіть і проявився якийсь „Манилов“ нашої „конституційної епохи“, якому забажалося би поласувати ілюзіями обіцяних „разумныхъ реформъ“, то він би не вспів навіть і віддатися своїм мріям, бо перші ж дні свого існування нове міністерство ознаменувало рішучими репресіями проти преси і громадянства: десятки заборонених зовсім або ж припинених на певний час газет, які навіть не мали нічого спільного з революцією, заборона спілок і товариств, арешти, труси, заслання і т. п. і т. п.,— все це посипалося на голови винних і безневинних людей. Одно слово—сталося те, що й повинно було статися і про що в один голос пророкувала вся чесна, незалежна і не рептильна преса,— а саме,—що роспуск Думи ніяким чином не можна погодити з здійсненням ліберальних реформ, бо це речі протилежні і стоять у гострій суперечці, і що міністерство „роспуску Думи“ силою самих річей повинно кинутися в обійми реакції. Так і сталося. До 6 серпня,—себто через місяць по роспуску Думи,—з 84 губерній та „областей“ у виемковому стані знаходилося 82 губерній та області: 40 на військовому стані, 27—на стані надзвичайної і 15—побільшеної охорони. Цих цифр досить, щоб зрозуміло стало кожному, оскільки офіційальне повідомлення суперечить правді, коли каже, що уряд має на оці вести боротьбу „не з громадянством, а з ворогами його“. Мало не вся держава перейшла на становище якогось військового табору, серед якого тільки чутно брязкіт зброї, стогін, плач і лемент; не чутно тільки одного—пісень побіди над ворогом, і це останнє найкрапцій

доказ безсилля репресій і цілковитої їх безрезультатности. „Сначала усмирение, а потомъ реформы“,—з таким девізом на своєму прапорі розпочинало „нові ери“ вже багато міністерств і довели країну до революції. Починають же нову еру реформ під цим самим девізом по роспуску Думи,—це значило вести країну до цілковитої анархії. Результати такої хибної політики не забарились прокинутися у всій своїй силі. Ніколи ще життя, здоровля особи не тільки офіційної, а кожної приватної людини, її помешкання, добро рухоме й нерухоме не було в такій небезпеці з усіх боків, як зараз. Що-дня, що-години озброєні напади, замахы, підпали, грабіжки не дають спокійно зітхнути, не дають жити й працювати. Що ж до особ, які займають хоч найнезначніше місце в адміністрації, то тут уже й казати нічого: терор червоний переслідує їх немилосердно і жорстоко, не зупиняючись ні перед чим. Статистика політичних убивств і замахів на вбивства, що припилися було під час функціонування Думи, після роспуску її вражає своїми цифрами.

Пригадаймо тільки, що воїлося наприклад 2 та 3 серпня у Варшаві та в Плоцьку: серед дня, одночасно по всіх улицах цих двох міст було полювання на поліціантів та на патрулі. За один день поліціантів полягло мало не три десятки. 12 серпня скоївся страшний замах на самого Столипіна, що поглинув стільки жертв; 13-го вбито генерала Міна, 14-го генерал-губернатора Варшави Вонлярлярського; а перед тим за кілька день губернатора в Самарі—Блока, генерала Маркграфського у Варшаві; а ще раніш—замах на генерал-губернатора у Варшаві Скалона; в Одесі—на Каульбарса і т. и. і т. и.

Поруч з замахами на життя видатних та значних і дрібних агентів влади, на кожний день припадає по кілька грабіжок, самих відважних, самих нахабних. І характерно в цьому те, що злочинців здебільшого не знаходять.

Експеси революційного руху, виявом яких стали щоденні вбивства, замахы на життя агентів влади, безнастанні гвалтовні наскоки анархистів-комуністів, анархистів-індивідуалістів і звичайних хуліганів на мирних мешканців, наскоки, проти яких почали протестувати крайні партії, дали ґрунт темним, анархистичним силам реакції щоб порушити питання про диктатуру. Реакція, устами своїх вірних ватажків Грингмута й Суворина з компа-

нією почали бити в дзвони і ширити думку про неминучу потребу диктатури. Був час, коли питання про диктатуру не сходило з шпалт щоденної преси; його обмірковували з боку теорії і практики; називали вже навіть на ймення кандидатів на диктатора.

Але і громадянство, і сам уряд добре розуміли, що страшним словом, хоч би те слово було й нове, ради не даси. Та й що справді нового спромоглася б дати диктатура, коли вже й без того вищі агенти місцевої власти мають право скасовувати силу всіх законів? Видимо, що диктатура з юридичного—сказати би так, боку нічого не може додати нового до того, що вже тепер є, хіба що збільшити цифру „карательныхъ экспедицій“. Але це все можна зробити—та й робиться—і без диктатури.

Але зрікшись думки оповістити диктатуру, міністерство, ступивши з самого початку своєї діяльності на шлях репресій, силою самих річей повинно вже було йти тим шляхом і далі. Опозиційна преса задалегідь бачила ці дальші фатальні кроки міністерства, не вважаючи на заповнення прем'єр-міністра, що він не збочить з шляху ліберальних реформ і не має на думці вести боротьбу з громадянством. І після цього, 20 серпня, з'являється закон про „военно-полевые“ суди і правила про побільшення кари за пропаганду у війську. В цьому новому законі все, до чого б ми не торкнулися, з якого боку не підійшли б до його—все впливає тяжке вражіння: і норми матеріальні і процесуальні, які він установляє, і організація суда і самий процес, і умови, при яких він відбувається; все тут пристосоване до того, щоб звести на-нівець хоч би найменші гарантії справедливості і правди на суді. Суд складається з офіцерів без спеціальної юридичної освіти; в процесі немає ні прокурора, ні оборонця, немає навіть акта обвинувачення, може не бути й свідків,—є тільки один обвинувачений, без найменшої змоги оборонятися і суд—без змоги поправити свою помилку, бо присуд над обвинуваченим повинен вивонуватися негайно. Окрім того, на розгляд сього суду передаються не тільки тяжкі злочинства, а кожне „очевидное преступление, учиненное лицомъ гражданского вѣдомства, при которомъ нѣтъ надобности въ его разслѣдованіи“.

Але в цьому невпинному простуванні міністерства шляхом репресій не помітно колишньої самовпевненості, хоч би такої, яку мали такі міністри як Сіпягін та Плеве. Свідомість власної

несили почувається в кожному слові кожного урядового оповіщення, не вважаючи на зважливий тон його, бо заступники сучасного уряду давно вже не почувають у себе під ногами ґрунту, на який могли б спертися в своїй діяльності. Очевидно, щоб знайти такий ґрунт, міністерство, видаючи закон про „военно-полевые“ суди і тимчасові правила про побільшення кари за пропаганду у війську, видало рівночасно і програму реформ. У вступнім слові до програми міністерство висловлює свій погляд на репресії.

„Репресії, необходимы для обезпеченія возможности жить и трудиться, являются лишь средством, а не целью“—каже оповіщення. Справжня ж мета, яку має на оці уряд—реформи. Вся річ тільки в тому, яким шляхом іти до тих реформ. Але і в цьому пункті уряд має певність у собі. „Путь правительства ясенъ“...—каже урядове оповіщення,—...„напряжением всей силы государственной идти по пути строительства, чтобы создать *enough* устойчивый порядок, зиждущийся на законности и разумно понятой истинной свободѣ“.

Що ж до самої програми, то даремно ми шукали б у її чого нового, чого не казав би уряд устами своїх не тільки конституційних, а й доконституційних міністрів. Програму цю всю можна вкласти у два параграфи. Параграф перший каже, що „правительство будетъ продолжать попрежнему твердо бороться съ крамолой“; в параграфі другому стоїть, що „правительство не отступитъ отъ обѣщанныхъ обществу реформъ;“ далі йде список намічених реформ, які не виходять із рамок маніфесту 17 жовтня.

Правда, одна тільки новина є в програмі міністерства,—це поділ реформ на дві категорії. До першої категорії належать питання, які подано буде на розгляд до Державної Думи і Державної Ради; з приводу цих питань вища адміністрація повинна виготовити докладно обмірковані законопроекти. Друга ж категорія реформ „по чрезвычайной неотложности своей“ мусить бути здійснена негайно. До цієї категорії належать питання, що полягають на основах, оповіщених у маніфестах, „частичное разрѣшеніе которыхъ не можетъ связать свободы дѣйствій будущихъ законодательныхъ учреждений и направление которыхъ уже предрѣшено. На первомъ мѣстѣ въ ряду этихъ задачъ стоить вопросъ земельный

и землеустроительный. Практический начинъ въ этомъ вопросѣ данъ Высочайшимъ повелѣніемъ о передачѣ крестьянскому поземельному банку удѣльныхъ оброчныхъ статей.“

Вірючи цілкомъ в ширість замірів теперішнього міністерства що до здійснення реформ і переведення їх у життя, не кажучи нічого про здатність міністерства „іти по пути строительства“, при цілевитій ізолированости його від живих творчих сил громадянства, ми спинимося тільки на поділові реформ на категорії. Насамперед що-до критеріума, який положено в основу поділу реформ на категорії. Критеріум цей—„чрезвычайная неотложность“. Він нездатен витримати ані найменшої критики. Зараз усі справи в державі: і політичні, і економічні, і соціальні стоять у такому становищі, що кожна реформа має характер „чрезвычайной неотложности“. А хоч би справа з реформами була і в иншому становищі, то все ж те, що на думку, вважаємо, п. Столипіна є справою нагальною, на гадку когось иншого здаватиметься навпаки. Нарешті, хоч би прем'єр-міністрові і пощастило провести межу між цими двома категоріями реформ і точно поіменувати реформи „чрезвычайной неотложности“, то першим кроком у систематизації реформ мусить бути не що инше, як негайне смикання Думи, а не здійснення реформ на свій ризик. Найкращим доводом кардинальної помилки, якої допустився прем'єр-міністр, поділяючи реформи на категорії, являється те, що він порахував до реформ „чрезвычайной неотложности“ земельну справу, бо вона, мовляв, належить до категорії тих справ, „частичное разрѣшеніе которых не можетъ связать свободы дѣйствій будущихъ законодательныхъ учреждений и направленіе которыхъ уже предрѣшено“. Що земельна справа належить до категорії справ „чрезвычайной неотложности,—про це нема що й казати, але що розв'язання її, хоч би й часткове, „не можетъ связать свободы дѣйствій будущихъ законодательныхъ учреждений“,—про це також не може бути двох думок...

Земельне питання, той напрямом, у якому воно трактувалося въ першій Думі, позиція, яку заняла Дума в роз'язанні його, були одною з найголовніших причин передчасної смерти першого російського парламенту. Тим часом роспустивши Думу, уряд зважився самотужки піти на-зустріч цій некучій потребі і зробити спробу роз'язати питання про землю без заступників од народу.

Робиться це мерщій, швидко, раптово, навпроти міністерській декларації Горемікіна і тому, що в імені міністерства говорили в Думі Гурко з Стишинським. 12 серпня видано указ про передачу крестянському банкові земель удільних; 27 того ж місяця—скарбових, а 19 вересня—про передачу „Главному управленію по дѣламъ земледѣлія и землеустройства“ земель кабинетських. Раптову земельну реформу вираховано, видимо, на те, щоб прихилити до уряду перед виборами селянство. Але поминаючи кваліфікацію реформаторських заходів міністерства, як і те, оскільки здійснення передачі названих земель за поміччу крестянського банку зменшить земельний голод і втихомирить розбурхане народне море, ми зазначимо у всій цій справі тільки одну дрібничку.

Не далі як 20 серпня прем'єр-міністр Столипін у своєму оповіщенні, наведеному у нас попереду, оповістив що він намірився „создать вновь устойчивый порядокъ, виждущійся на законности“ і т. и. Але через тиждень, то-б-то 27 серпня, сам перший подав приклад вельми необачного і через се вельми шкодливого своєю принадністю ламання законів. Це зазначив не хто инший як колишній міністр д. Н. Кутлер. Річ в тому, що указ 27 серпня про спродаж крестянам скарбових земель покликається на ст. 87 „основних“ законів, на підставі якої міністерство призначило на спродаж скарбові землі до скликання нової Думи. З приводу сього д. К. Кутлер пише: „Хотя указъ 27 августа и ссылается на ст. 87 основн. зак., но находится въ явномъ съ ней противорѣчі. По смыслу этой статьи именныя указы, издаваемыя во время перерывовъ дѣятельности думы, имѣють силу въ теченіе этого перерыва и двухъ мѣсяцевъ по созывѣ думы; по окончаніи этого срока дѣйствіе означенныхъ указовъ само собою прекращается, если не будетъ подтверждено въ общеустановленномъ законодательномъ порядкѣ. Отсюда слѣдуетъ, что упоминаемыя въ ст. 87 основ. зак., указы не могутъ имѣть предметомъ такихъ мѣръ, которыя безповоротно предрѣшаютъ извѣстный вопросъ, которыя фактически не могутъ утратить своей силы по истеченіи извѣстнаго срока. Между тѣмъ правила о продажѣ казенныхъ земель именно предрѣшаютъ ихъ назначеніе. Такъ и сказано въ начальныхъ словахъ указа: „Признавъ необходимымъ *предназначитъ* свободныя казенныя земли“... (Право № 35).

Та і взагалі поведіння міністерства суперечить тим принципам „законности и разумно понятой истинной свободы“. В офіційній декларації кабінет, наприклад, оповіщав, що „съ своей стороны правительство считаетъ для себя обязательнымъ не стѣснять свободно высказываемаго общественнаго мнѣнія, будь то печатнымъ словомъ или путемъ общественныхъ собраний“. Проте в той саме час, коли в Петербурзі відбувся перший цілоросійський з'їзд голов і уповажнених „союза русскаго народа“, на якому всякі Крушевани, гр. Коновничини, говорили такі людозненависні, хижо-розбишацькі промови що голова з'їзду, відомий Пуришкевич, мусив навіть „ум'ярять расходившіяся страсти“,— в той саме час не дано дозволу урядити з'їзд заступникам „парти народной свободы“. Дбаючи про бажані для себе результати будущих виборів у Думу, міністерство робить, таким способом, усе, щоб забезпечити на виборах успіх тим елементам, яких воно так боїться. Делегати партії „народной свободы“ відбувають зараз свій з'їзд у Гельсінфорсі, і уряд не здолає припинити діяльність партії й усунути її вплив на виборчу агітацію. Це видима річ, і незабаром міністерство напевне побачить свою помилку.

9 вересня телеграф приніс несподівану звістку про смерть Д. Трепова. Чутки про його слабість, що правда, доходили не раз, але були вони якісь невиразні й непевні. В особі небіщика дворцового коменданта зійшла в могилу досить цікава фігура, з іменем якої з'язана буде не одна сторінка історії того моменту, що ми переживаємо тепер. Ім'я сії людини увесь час, відколи вона стала так близько до палацу, було сіновімом усіх реакційних заходів, і тільки смерть її положила край усім розмовам про її вплив на весь хід внутрішньої політики. Правда, д. Шараров зробив було спробу реабілітувати Трепова і виявити його „жертвою увлеченія либеральними завиральними идеями“, але це зроблено було так „по-шараровски“, що мало хто поняв йому віри. Так чи сяк, а безперечно, що перед смертю Трепов, через якісь невідомі причини, втрапив свій ще недавній вплив. Історія незабаром напевне дасть одгадку цій загадці наших днів разом з іншими, яких так багато.

Подаючи загальний огляд громадсько-політичного життя в Росії за минулі два місяці, ми несамохіть вийшли за межі за-

значених рямок і повинні, на превеликий жаль, одікласти огляд життя за той же самий час на Україні до другого разу, бо життя і відносини на території Української землі мають свої специфічні риси і прикмети, які вимагають для себе окремої мірки і оцінки.

Сього разу зазначимо тільки кілька фактів більшого й меншого значіння, про які згадувалося в нашій пресі.

Влітку ще почалася справа сполучення української соціал-демократичної робітничої партії з російською с.-д. р. партією. Центральний комітет української с.-д. р. п. в серпні розіслав усім місцевим групам партії проєкт умов, на яких сталося б це сполучення. Проєкт складається з шістьох пунктів:

1. Українська с.-д. р. п. входить в російську с.-д. р. п. як соціал-демократична організація українського пролетаріята, що працює на Україні.

2. Українська с.-д. незалежна що до всіх питань праці на місцях, на основі загальної партійної програми і тактики.

3. Українська с.-д. має свої місцеві організації, центральні інституції, з'їзди і конференції.

4. Українська с.-д. має заступництво в ц. к. р. с.-д. р. п. по згоді з останнім.

5. Всі місцеві організації складають загальний керуючий центр р. с.-д. р. п., на основі загальних виборів, без різниці національності членів партії.

6. Українська с.-д. має заступництво в делегації р. с.-д. р. п. на міжнародних соціалістичних конгресах.

Увага. Умовою свого вступу в р. с.-д. р. п. українська с.-д. р. п. ставить признання автономії України. Визначаючи, що ц. к. р. с.-д. р. п. не має загальних директив що до цього питання і не може самостійно погодитися на цьому пункті, українська с.-д. р. п. згожується залишити цей пункт відкритим, заховуючи одначе за собою право пропагувати ідею автономії України.

Одначе згоди на ці умови від рос. с.-д. р. партії й досі нема і поєднання не сталося.

В місяці липці у Києві вряжено було курси для учителів народних шкіл. На курси прибуло коло 400 чоловіка з України право і ліво-бережної і з слободської, з Таврії і з деяких московських губерній. Серед учителів знайшлося чимало національно-

свідомого елемента, з якого склався осередок, що згуртував коло себе чимало людей більшої і меншої свідомости. Заходами цієї свідомої частини курсистів на курсах при всякій нагоді порушалося українське національне питання і трактувалося з огляду інтересів і потреб народньої школи. Перед кінцем курсових робіт, коли йшли наради з приводу загальних питань, комітет поставив на чергу питання і про українську школу.

Зрештою 23 липця відбулися загальні курсові збори, на яких прийнято було найважливіші резолюції, що поскладали відповідні комісії. Подаємо з цих резолюцій дві: одну загального змісту— про народню школу та права вчителя—перекладом на нашу мову і другу—про українську школу, подану до ухвали зборам мовою українською. Перша резолюція розпадається на 4 розділи:

I. Просвіта:

- 1) Просвіта повинна бути вселюдна, обов'язкова й безплатна.
- 2) Школа повинна бути єдина й без перериву.
- 3) а) Наука повинна бути вільна й рідною мовою учнів; б) релігійне виховання треба передати з школи на сем'ю.
- 4) Народню просвіту треба передати в руки місцевих органів самоврядування.
- 5) Органам, що порядкуватимуть школами, треба дати автономію.
- 6) Ці органи мусять складатися з виборних од народу та з учителів нарівні.

II. Школа:

- 1) В основу шкільної просвіти повинно положити знання письменства та умілости, як плодів загально-людської творчости.
- 2) Кошти на народню просвіту повинні йти від держави.
- 3) Коштами цими має порядкувати шкільна рада, що складається з учителів, земського лікаря й одного чи двох членів од місцевих органів самоврядування.
- 4) Всі питання, що до шкільного діла повинна рішати шкільна рада.
- 5) Шкільна рада порядкує наукою й вихованням по школах, складає екзаменаційні комісії, до яких запрошує асистентами вчителів з інших шкіл.
- 6) В органах самоврядування мають брати участь і заступники від учителів з правом рішального голосу.

7) Переміщати й увільняти учителів проти їх волі може тільки товариський суд.

III. Учитель:

1) Курс учительських семінарій повинно поширити до програми середніх шкіл по загально-просвітних предметах.

2) Хто добув курсу в семінарії, має право поступати у вищі школи нарівні з учнями інших середніх шкіл.

3) Що-року повинні впорядковуватись для вчителів курси для загальної освіти.

4) Зрівняти всіх учителів, що до пенсії.

5) Завести посади запасних учителів по 1-му на кожних 15 шкіл.

6) Покласти в початкових школах жалування найменше 600 карб., щоб дати вчителеві спроможність дбати тільки про школу; крім того встановить через кожні 3 роки прибавку в 10 процент. жалування.

7) На випадок тяжкої слабости, що не даватиме працювати, вчитель має право на повну пенсію, хоча б і не дослужив сповна літ; на випадок його смерти це право переходить на сем'ю, доки потреба в тому буде.

IV. Освіта по-за школою:

Органи місцевого самоврядування повинні позаводити вечірні, недільні й буденні школи для дорослих. Організувати, як постійні, так і мандровані народні університети, школи, бібліотеки й музеї. Взагалі на місцевих органах самоврядування лежить повинність дати спроможність людям освітитися, що до громадянських питань, а для того—знайомити їх з історією, правом, політичною економією і т. и.

Що до української школи, то на зборах подано було такий проект революції і прийнято його цілком:

Історія української просвіти показує, що до кінця XVIII віку українці мали свою школу. Уся Україна верита була школами нижчими й середніми, а в Києві була вища школа—академія. Всі ці школи содержував і оплачував сам народ своїми власними грошми, без запомогі від держави. Чужоземці, які були на Україні, починаючи з XVII віку, дуже хвалять велику освіченість і культурність тодішніх українців. Як дуже поширена була тоді освіта, показує те, що до з'єднання України з Московією було на

Вкраїні не менше як 24 друкарні, а в московській державі тим часом тільки одна. Наприкінці XVIII віку петербургське правительство заборонило українські школи й завело московські: дітей туди приводили силою з допомогою поліції. Просвіта страшно впала. Наприклад, у половині XVIII віку на території Чернігівського полку було 134 школи, одна школа на 746 душ, а через 120 літ (кінець 70-х років) на тій же території шкіл було тільки 68, одна школа на 6,730 душ.

Чужомовна школа відрізняла інтелігенцію від народу. Народ оставався блукати в темряві, а інтелігенція й до нашого часу живе чужинцем серед свого власного народу. Хоча тепер шкіл і більше, та все ж наука в їх чужомовна. Це суперечить усім основам раціональної педагогії. Без народньої мови не може бути народньої просвіти. Чужомовна наука одриває дитину від сем'ї і через те вносить в народ духовне каліцтво. Яка біда від такої школи, давно вже показали кращі російські педагоги і найкраще— Ушинський.

Зважаючи на це все, а також і на те, що тридцятимиліоновому українському народові повинні бути забезпечені його національні права і поперед усього його національна школа, ми, учасники педагогічних курсів у Києві, народні вчителі з усієї України та з інших губерній, постановили:

1. Початкова школа повинна бути розширена на шість років. Вся наука в їй повинна відбуватися рідною українською мовою. Тільки після того, як ця мова вже буде вивчена, можна в вищих класах почати вчити державну мову, як один з предметів науки.

2. По вчительських семінаріях та вчительських інститутах уся наука повинна зараз же відбуватися українською мовою. Для тих учителів, які вже тепер є по школах, треба, щоб прочитані були курси української мови, української історії й історії літератури. Всі учителі повинні знати мову того народу, якому вони дають просвіту.

3. По всіх інших середніх та вищих школах на Вкраїні наука також повинна бути українською мовою, але заводиться се не зразу, а поступовно; зараз же треба, щоб там учено українських мови й літератури, історії та географії українського народу.

Треба зазначити також факт, що в серпні місяці вийшла нарешті перша частина євангелія українською мовою св. Матвія. Більше року минуло, як синод розпочав друкувати св. письмо і за рік спромігся видати тільки одного євангелиста. Як що робота йтиме й надалі таким темпом, то матимем повне видання євангелія аж через три роки. Не можна сказати, щоб вища інституція православної церкви в Росії дуже дбала про поширення Христової науки серед народу. Треба до цього додати, що синод і ціну на книжечку похлав таку велику—25 коп., яка також стане безперечно на перешкоді розповсюдженню євангелія.

Наш коротенький огляд мусимо закінчити, зазначивши вельми сумний факт. 18 серпня в редакціях „Громадської Думки“ і „Нової Громади“ було зроблено трус, що тягся більш як 15 годин. Наслідком його був арешт літератора С. Єфремова, кількох співробітників і припина газети на весь час військового стану в Києві. Мало не місяць були ми без щоденного часопису. Нарешті 15 вересня почала виходити щоденна газета „Рада“. Недостача щоденної преси української остільки дошкульна, що поява нового часопису—велике придбання.

Ф. Матушевський.

За кордоном.

З'їзд професійних спілок в Англії.—Ірландська автономія.—Ліберальні партії в Германії.—З'їзд народної партії в Мюнхені.—Роковий з'їзд німецької соціал-демократії.—Жіноча соціал-демократична конференція в Мангеймі.

Найвидатнішою подією за місяць вересень в Англії є з'їзд могутніх робітничих професійних спілок — тред-уніонів. Можна сказати, що на цей з'їзд були звернені очі всіх англійських політичних гуртів. А на суходолі Європи праці з'їзду з цікавістю пильнували всі соціалістичні організації. Річ у тому, що на сьогорішньому конгресі, як усі зацікавлені гадали, мала виявитися сила і вплив двох течій: старої професійної з політичними симпатіями до ліберальної партії й нової, „незалежної“, з виразною соціалістичною тенденцією. Незалежна робітнича партія має, як відомо, в народній раді 29 заступників, з посеред яких 17 переконаних соціалістів; ця група вороже ставиться, як до консерваторів, так і до лібералів. Отже ж на з'їзді зразу виявилось, що перевагу мають „незалежні“. Їх думки так вплинули на „ліберальних“ робітників, що ці останні значно полівішали, і це добре було видно хоч би з промов їх видатних проводирів. Поперед усього однаке про цю перемену свідчить роковий доклад парламентського комітету. В йому ми знаходимо, між иншим, такі слова: „Нарешті зорганізовані робітники прокинулись зо своєї байдужости, в якій до теперішнього часу пробували. Успіх на виборах—це нагорода за працю минулих літ. Ми не можемо далі вдовольнятися з боротьби за плату. Ми хочемо більше ніж це. Ми домогаємось кращого існування, яке дало б нам змогу виховувати наших дітей і користуватись добутками умілости й літератури, щоб уживати принаймні половину того добра, що робить життя кращим і бажаним“.

На з'їзді вибрано новий парламентський комітет, до якого належатимуть соціалісти Бурне і Торн. Метою конгресу було, між

иншим, з'єднання ліберальних і робітничих послів в одну парламентську групу, але це питання залишилося не роз'язаним. Соціалістичні гурти висловлюються проти цієї спілки, бо в такому разі соціалісти втратять більшість, яку тепер мають в незалежній групі. Треба ще додати, що з'їзд висловив співчуття російському визвольному рухові. Настрій сьогорішнього конгресу тред-уніонів зробив в Англії дуже велике вражіння.

Незабаром в англійській раді міністрів розглядатиметься проект ірландської автономії. Сподіваються, що цей проект буде внесено до народньої ради ще під час осінньої сесії. Однак автономія, яку англійський уряд наміряється дати Ірландії, значно менша, ніж т. з. „home rule“, що його добиваються ірландці. Забордонні газети подають звістки, що автономія ліберального кабінету дає ірландцям такі права: Ірландія вибиратиме національну раду, до якої належатиме: 1) догляд за тою частиною загально-державного бюджету, що торкається Ірландії, 2) народня просвіта, 3) догляд за місцевими органами уряду і 4) догляд за поліцією. Національній раді буде також доручено провести у життя аграрні закони 1903 р. Англійський парламент відносно всіх постанов ірландської національної ради матиме право veto.

В поглядах на цей урядовий проект автономії ірландці поділились. Одна частина ірландських націоналістів відносить до урядових заходів не прихильно. Проводирь цієї групи, Джон Редмонд, так з'ясував її становище: „Щоб уникнути непорозуміннів, ірландська парламентська група вважає за свій обов'язок оповістити, що вона не приймає на себе одвічальности за такий проект, бо уряд ні до кого з ірландських діячів за порадою не вдавався. Але думок своїх вони ховати не хочуть і щиро заявляють, що ірландський народ тепер, як і раніше, буде вдоволений тільки з дійсною автономією, се б то йому треба вільно вибраної народньої ради з одвічальною перед нею властю, і з ніяким иншим рішенням ірландського питання погодитись не може“. В одповідь на цю промову проводирь другої групи О'Бріен, в розмові з кореспондентом одної англійської газети, нагадав Редмондові, що його тактика не згоджується з політикою відомих ірландських патріотів. Так, наприклад, Парнелль завсїгди уперто боровся зо всіма урядами, що висловлювалися проти вимог Ірландії,—сказав О'Бріен,—але завсїгди був ладен помагати урядові радою

і працею, скоро бачив, що уряд згоджується задовольнити деякі вимоги ірландців. Ці пумки двох видатних ірландських діячів з'ясовують становище ірландських національних партій в справі автономії, яка, не вважаючи на всі її хиби, має чимале значіння, бо становить перший важний крок до дальших відповідних здобутків. Англійські ліберали і тут, так саме, як в справі трансваальської конституції значно виправили шкодливу для держави політику минулого консервативного уряду.

Ліберальні партії в Германії не можуть похвалитись такою обережною політикою не тільки відносно чужородних націй—досить згадати утиск поляків в Великому Князівстві Познанському—але і в інших державних справах. „Курс“ німецького лібералізму падає все нижче й нижче, і може справді вже недалеко той час, коли в Германії,—як сказав один з видатних німецьких аграріїв,—зостануться тільки три дійсні громадські сили: чорна, біла і червона, се б то клерикали, аграрії і соціал-демократи. Колоніальні шахрайства, про які було згадано в попередньому огляді зайвий раз виявили нікчемність ліберальних партій. Становище лібералів у цій справі просто ганебне. Їх часописи зразу напались були на уряд, але дуже швидко замовкли, вдовольнившись з того, що на директора колоніального уряду, на місце князя Гогенлое, покликано директора банку Дернбурга. Звичайний міщанин став великим урядовцем, як тут не тішитись лібералам! Характерні риси німецьких лібералів виявляються в митовій, податковій і просвітній політиці. Скільки літ тому в загально-німецькій народній раді проведено новий митовий тариф тільки через поміч найвидатнішої німецької ліберальної партії—націонал-лібералів. Р. 1906 під час останньої парламентської сесії знов за поміччу цієї самої партії отягчили народ новими посередніми податками, і націонал-ліберали спричинились також до того, що народні школи в Пруссії віддано в руки духовенству. Не без гріха й обидві вільнодумні групи, які до недавнього часу виразно повертали праворуч. Але ця політика довела їх до втрати скількох посольських місць. Очевидячки німецька дрібна буржуазія перестала вірити у своїх дотеперішніх провідарів і наперекір їм повернула ліворуч. Цей настрій німецького дрібно-міщанства, викликаний страхом перед надзвичайним зростом впливу на державно-громадські справи аграріїв і клерикалів, навів на думку лівіші лібе-

ральні організації скласти щиро-ліберальний з'язок, незалежний і од правих і од лівих (соціал-демократів). Почин цього з'язку вийшов од т. з. німецької ліберальної групи, одинової дрібно-буржуазної партії, яка останніми часами входила на виборах в дочасні спілки з соціал-демократами і враз з ними обстоює вселюдне виборче право у цих спілкових німецьких державах, де його ще не заведено. На з'їзді народньої партії в Мюнхені 16 і 17 вересня вироблено програму з'язку ліберальних партій. До цього з'язку належатимуть: вільнодумна партія, т. з. вільнодумна спілка і націонал-соціалісти.

10—18 вересня відбувся звичайний роковий з'їзд німецької соціал-демократії. Сьогорішній з'їзд визначався присутністю, численних заграничних „гостей“. Велими гаряче привітав з'їзд заступників російської соціал-демократичної партії, польської соціалістичної партії і польських соціал-демократів. Од імени цих останніх виступала відома Роза Люксембург. Головним пунктом програми сьогорішнього з'їзду було питання про загальний політичний страйк. З докладом од партії в цій справі виступав Бебель. Він доводив, що, через неоднакове становище німецького пролетаріату в окремих спілкових державах, не можна в теперішні часи й думати про загальний страйк. Цього способу боротьби доведеться вжити тільки тоді, коли імперський уряд зробить замах на вселюдне виборче право до загально-німецької народньої ради, або на право спілок. Почались дебати. З їх стало видно, що на з'їзді зустрілися два напрямки: ворожий до революційної тактики напрямок професійних з'язків (Легін) і крайні погляди партійних ортодоксів (Каутський). Бебель намагавсь погодити ці дві течії, хоч було видно, що він більше прихильється до поглядів Легіна з незначною поправкою Каутського. Властиве значіння цієї резолюції таке, що з'їзд визнає загальний страйк тільки принципіально. Цікавою була також справа т. з. анархо-соціалістів. Цю справу порушила група з 27 делегатів, що внесли проект резолюції про відносини соціал-демократії до анархо-соціалістів. Анархо-соціалісти з доктором Фрідебергом на чолі одкидають діяльність у народній раді й визнають, що тільки загальний страйк є дійсно пролетарським способом боротьби. Резолюція 27 пропонувала з'їздові оповістити, що анархо-соціалістичні організації не мають нічого спільного з сучасним робітничим рухом та що члени

німецької соціал-демократичної партії не можуть брати уділу в анархо-соціялістичних спілках, збірках і часописах. Проти цієї резолюції виступила в гарячій промові Роза Люксембург, яка доводила що анархо-соціалізм виник через опортуністичні течії в німецькій соціал-демократії. Резолюцію 27 одкинута і справу анархо-соціалістів доручено партійному урядові.

Рівночасно з соціал-демократичним партійним з'їздом відбулась в Монтеймі жіноча соціал-демократична конференція. Доклад про жіночий рух виявив, що до партії минулого року прилучилось більш як 5000 жінок. Між иншим, на конференції внесено пропозицію М. Грейзенберг, щоб з усеї сили намотатись знищити вплив духовенства в початкових школах. З цією пропозицією конференція цілком згодилась. Постановлено резолюцію, щоб виховання дітей спералось на основах міцно з'язаних з духом сучасного соціалізму.

Б. Ярошевський.

Бібліографія.

✓ Остап Луцький.— *В такі хвили. Поезії (1902—1906). Львів, 1906. Ст. 55.*

Д. Луцький робить вражіння людини, на віки переляканої життям, яке він уявляє собі повним усяких страхіть, усяких „жушелів“.

„Життя—се вічний жаль і вічна туга“, скаржитесь він, виявляючи сим свії безнадійний, повний невимовного страху погляд на життя. Погляд сей ми не визнаємо якоюсь індивідуальною відзнакою д. Луцького, властивою тільки йому самому. Навпаки, серед сучасних людей багато знайдеться особ, що думають і почувають зовсім так, як наш автор, бо світогляд сей має свої глибокі коріння в нашому сьогочасному житті.

Життя громадське—то вічна і безперестанна боротьба за існування таких елементів громадянства, про гармонію відносин між якими говорити зовсім безнадійна річ. Ся боротьба за часів капіталістичних прибрала невимовної сили та інтенсивности і захопила під себе надзвичайно широкі простори, закаламутивши тихий спокій по найзатишніших закутках і переробивши їх на

поле гострої, й гарячої, й жорстокої боротьби. Та окрім жорстокости, пануючі класи наших часів принесли з собою в життя-боротьбу багато властивого їм бруду, виявляючи його в своїй мізерній натурі, з головою віпрнувши в дріб'язкові, грубо-матеріалістичні інтереси. Серед обставин жорстокої боротьби за панування вузько-міщанських, брудних ідеалів тільки люде міцної вдачі здолають жити, в роспуку не вдаючись, та змагатися за преїдешній громадський стан, коли мовляв Шевченко,

„На оновленній землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати
І будуть люде на землі.

Серед людей м'ягких, з серцем, що не нахильне до гострої боротьби та не має й крихітки в собі войовничого запалу, таке життя викликає великий, непереможний страх перед собою, що ніколи навіть бере гору над страхом перед смертю,—страхом, що вже з давніх давен пустив глибоко корінь у душу людині.

До сього останнього гурту належить і д. Луцький, оскільки, звичайно, він виявив себе в збірці: „В такі хвили“.

„Серед ланів широких, нив зелених
І верб старих, що йшли селом рядами,
Колись душа моя росла... (7)

А вирости, міцною стати в таких обставинах їй не пощастило. „З літами“ поет мусив залишити свій тихий закуток, де він безперечно щасливий був („Милий Боже! Що ж кращого життє нам дати може?“ (46), і рушив широким шляхом життє.

„Я відійшов незнаними стежками
Від нив у світ, де ждали вічні драми“... (7)
„У світ далекий і зрадливий“ (13).

„Світ“, певно, неласкаво привітав д. Луцького, його поривання до чогось чистого, великого не мали собі відповіді і zostалися незадоволеними, ба навіть більше, як незадоволеними.

„Я все бажав вглядіть колись
Хоч клаптик, клаптик неба“ (16),—

каже д. Луцький, але, замість неба, зустрів він у житті жакливу тишу, страшне мовчання:

„Весь світ мовчить—
І темно скрізь, так темно“... (19)

І врешті поетові спала в голову болюча думка: „всьо в життю: важка-бездонна тайна“. І ся „важка-бездонна тайна“ придушила поета, наповнила серце його страхом і викликала в душі його найближчу „потребу“

„Відбитись від землі, злетіти ген—до неба—
і так забути всьо—і жити перестати“...

Ось чим живе наш поет! І се єдине, що пощастило нам знайти в поезіях д. Луцького серед певної дози неширости, що ковається в туманних нетрях декадентщини. І справді, в цілій збірці всього тільки три вірша, перейнятих справжнім поетичним чуттям: се— „Мені вас жаль“... (11), „Відбився я від вас, лани широкі“ (13) та „На верхах“ (46). На всьому иншому, що увійшло до збірки „В такі хвили“, лежить виразно тавро вимушености та браку безпосереднього чуття. Що ж до техніки вірша, то, як висловився сам автор, „похибок нескладних і недостач—і промахів гірких“ (5) тут і не перелічиш.

П. Є.

Паньска хвористь, або не берись жинку обдурити. *Жартъ въ одной дѣи зъ спивамы та танцямы В. П. Овчинникова. Присвячуется М. И. Бонавичъ. К. 1906 34 стор. 8°. Ц. 15 к.*

Котляревський написав свого „Москаля Чарівника“, і кожен недотепа думає так, що й він повинен написати на тую ж тему якусь „Сатану в бочці“ або хоч і „Паньску хвористь“.

Комізм таких „творів“ увесь складається з того, що дурень говорить дурниці, хвершал називається хина, а ім'я його перекручується так, що виходить Мертвій Сімверстович. Попереду було просто гидко стрівати такі речі, а тепер ще й якась дивне почуття обнімає, як глянеш на таку книжку: мов якась мара з часів минулої похмурої ночі висуває на ясний день свій гидкий вістак. Коли б уже його загребти швидко! П. В—й.

Що то було сазано у Царських манифестахъ видъ 6 Августа и 17 Октября сего року. *Житомиръ 1906. 10 стор. 32°.*

Книжечка ся вийшла ще з початку сього року, перед виборами до Державної Думи; та ми все ж хочемо зазначити її, бо, пови наша політична книжкова література така вбога, треба не проминати ні одного з'явища. З другого боку, на при кінці минулого року і з початку сього пущено по всяких провінціальних українських городях чимало окремих відозв і дрібненьких брошуров на політичні теми українською мовою. Вони здебільшого дуже швидко розходилися, і чоловікові, що сидить, напр., у Києві, тільки випадком ставало відомо, що ся чи та річ вилинула з якоїсь друкарні. Дуже було б варто позбирати всі такі речі: вони цікаві для характеристики того, як ми реагували на події виз-

вольного руху. Для історії сього руху на Україні сі речі безперечно інтересні.

Книжечка підписана: „Сусида“. Д. Сусида вже не вперше виступає з книжками на політичні теми. Усі вони мають олин характер і, коли хочете, вигляд. Всі писані „ярижним“ правописом, простою народньою місцевою мовою з москалізмами і поясняють події визвольного руху з одного погляду. Причини, через які повстає парламентарний лад, пояснюються так: „у всякимъ Государствѣ такъ колысь було, що Цари та Короли сами правылы своими Государствамы, тай воно ынакше и не могло быты, бо не було разумныхъ людей, то й не було съ вымъ-ся радыты. Ажъ явль людѣ ставалы чымъ разъ разумнишы, то Цари та Короли бачыли, що е изъ кого выбаты такихъ людей, що и разумни, и честни и прахтиковани, то-й зачалы соби збыраты до помочи раду изъ выборныхъ людей“ (4).

В такому напрямку пояснено маніфести 6 серпня і 17 жовтня, а потім говориться, що люде не зрозуміли останнього маніфесту і почали „по-де-которыхъ городахъ грабыты та розбиваты“, повіривши, ніби „жиды Царсву корону поломалы, бо-щонибы Царь давъ волю на три дни жыдывъ быты, а сего не розибралы, що вже то десь ништо Царской Коронны не зачыпыв та Царской власти не нарушывъ“ (8).

Кінчається книжка закликком слухатися Загону Божого і вбрати в Думу гарних людей. Б. Г.

Національна рада. (Епіграф: *Боритесь—поборете!*) Изд. Н. Е. Парамонова „Донская Речь“. № 155. 10 стор. 16°. Ц. 2 к.

Се—переклад; чи з книги, чи з власного думання до московському,—це вже однаково. Досить того, що се переклад кепський, бо перекладач не тільки не знає иншої синтакси, опріче московської, але може навіть писати: „знайшлися... рішучі люди“, „ненависні народові люди“... І мужикові, що говорить по-українському, і панові, що звик до московського слова, ця мова здається чужою.

Що ж до змісту, то се—уривок з історії великої французької революції,—уривок за-для народу занадто непопулярний і через те незрозумілий, а за-для інтелігенції занадто короткий, сухий і вбогий змістом: кожен інтелігентний читач знає більше, ніж йому каже ця книжечка. Б. Г.

Листи Данила Таячкєвича до Мих. Драгоманова (1876—1877).
Змaдiв i видaв М. Пaвлiк. Львiв, 1906. Ст. 36.

Хоча від часу смерті Драгоманова минуло більше як 11 років, хоча за останні часи з'явилась змога друкувати те, про що раніше й згадувати було невілбно,—проте у нас дуже мало зроблено, щоб познайомити з творами й діяльністю цього видатнішого українського політика й публіциста. Твори його розкидані по старих та маловідомих виданнях, які давно зробились рідкістю навіть за кордоном. Ще менше відомо про його життя. Після Драгоманова полишилася сила листів, а в їх—ціла історія нашого громадянства за 70—90 років, бо, як справедливо завважує д. Павлик у передмові до недавно виданої брошури, заголовком якої ми оце виписали вгорі,—„в руках Драгоманова сходились усі нитки тодішнього (мова йде про кінець 70 років) українського руху“. Для будучого історика нашого громадянства листи Драгоманова—одно з найцінніших та певних джерел. Опубліковувати листи Драгоманова заходився від кількох років д. М. Павлик. Не можна сказати, щоб справа ця посувалася в його руках дуже жваво: томики або й брошури з листами Драгоманова з'являються дуже зрідка. Перший том—переписка Драгоманова з Ю. Бачинським, Борзовським та ин. галицькими діячами, старшими й молодшими, вже розійшлася і її не можна здобути навіть у Львові. Причина такого становища справи з виданням листів Драгоманова—брак грошей, про що каже сам д. Павлик, публікуючи, наприклад, на обгортці виданої торік брошури з листами Драгоманова до Н. Кобринської, що він шукає видавця для 4—5 томів листів Драгоманова до нього самого та до інших осіб... Торік вийшов, окрім цієї брошури, ще том листування Драгоманова з Т. Окуневським; листи ці мають особливий інтерес для нас—українців російських через те, що д. Окуневський був деякий час посередником у зносинах Драгоманова з російською Україною, часто їздив до Росії і описував у листах до Драгоманова свої враження з подорожей. На жаль, д. Павлик не оголосив імен українців російських і міст, де бував д. Окуневський,—з свого рода обережності, болячись, видимо, пошкодити тим особам, що живуть у Росії. Багато цікавих матеріялів у цім томі й до історії утворення радикальної партії в Галичині.

Оце зараз перед нами невеличка брошура, де надруковано сім листів о. Данила Таячкєвича до Драгоманова (передрук з „Громадського Голосу“). Покійний Таячкєвич—умер він сього року—одна з оригінальніших та видатніших фігур серед галицьких діячів народовецького напрямку. Блискучий бесідник, талановитий і надзвичайно енергичний політик, він багато положив праці на полі громадського розвитку Галичини і брав гарячу участь у її політичнім життю. Останніми роками він був послом до ві-

денського парламенту. Живучи в крайній бідності, серед злиднів, він кидавсь на всі боки, щоб знайти засоби для своїх широких і часами фантастичних планів; надзвичайна любов до України, при бракові доброї політичної школи й широкого знання, не раз направляла його до таких авантур, які потім дали змогу його політичним ворогам скласти дуже суворий присуд над його діяльністю. В усякім разі, образ о. Танячкевича—глибокого ідеаліста й широкого народовця—один із симпатичніших серед політичних діячів Галичини. Навіть д. Павлик, дуже скептично настроєний проти його особи, признав за ним право на такі слова: „...В нічмі не одрізнений від народу і в його горю,—став я Лазарем для його, роздробився на атоми, щоб скрізь йому у видний спосіб бути помічним!... І моєї роботи ніхто не помічав у Галичині, бо її не знав і знати не може тим, що мене і не видно було,— хоч що єсть народнього в Галичині—се ж я йому батько“.

Зносини Танячкевича з Драгомановим відносяться до 76—77 років,—тоді Танячкевич порядкував справою перевозу українських книжок з Галичини до Росії; саме тоді ж розпочалась видавнича діяльність Драгоманова в Женеві, і Танячкевич був дуже діяльним посередником у справі перевозу драгоманівських видань. Щоб се діло влаштувати як найліпше, задумав Танячкевич з'їхатись із Драгомановим, маючи при тому на думці щось більше, іменно—як каже д. Павлик—„йому хтілося переконати Драгоманова, що центр українського руху має бути не в Женеві, але у Львові, і що через те він, Драгоманов, повинен віддати справу видавництва та й гроші на те в руки народовців, а в першій лінії його, Танячкевича“ (ст. 2 передмови д. Павлика). З'їзд той не здійснився, але Танячкевич і Драгоманов обмінялись кількома листами. Драгоманівські листи десь загубились, а 7 листів Танячкевича видав оце д. Павлик із своєю передмовою та увагами. Листи ці цікаві нам тим, що дають деякі відомости про зносини між киянами та Галичиною в кінці 70 років, а спеціально—про організацію перевозу українських виданнів до Росії. Крім того—сі листи подають чудовий портрет самого Танячкевича,—гарячого ентузіаста і палкого патріота. Од цих листів віє чимсь глибоко ідеалістичним, часом аж до екзальтації та наївності; читача несамохіть зрушає такий, наприклад, наївний факт (і лист з цього приводу): Танячкевич посилає Драгоманову гостинець на Різдво: глечик із кутею; не маючи через свою бідність чим оплатити посилку шле „наложенною платою“ (як пояснив д. Павлик; він же подає звістку, що Драгоманов не прийняв через те посилки); на зразок стилю й тону листів Танячкевича навожу уривок з листу: „Отце убогий даруночок Вам посилаю я,—ні! не я, а рідна земелька на мої руки! Отце у глечику трошки

пшениці; трошки маку й трошки меду—отсе все! Вибачайте, що такий мізерний,—на ліпший мені не стати....

Не погордіть же ним, прийміть, привітайте тим серцем, яким Вам його подаю, тим серцем, котре б так раде—ой, Господи! як безконечне раде обділити однаким добром усіх дітей України—цілий Ваш народ, убогий та простий у ті світлі та святі вечері (яких не багато у його в році налічиться)“...

Передмова та уваги д. Павлика, хоча й служать добрим і совісним коментарієм до листів Танячкєвича, трохи вражають своєю суб'єктивністю в оцінці характеру й діяльності небіжчика. Передмова—це особисті спомини д. Павлика про Танячкєвича з часів переписки останнього з Драгомановим та уривок з листа д. Павлика до Драгоманова з приводу візита д. Павлика в Танячкєвича.

Дуже бажано, щоб усі листи Драгоманова скоріше були б опубліковані, та ще у систематичнім, по змозі повнім, виданні, щоб потім не треба було збирати ці дорогоцінні документи до історії нашого громадянства по окремих метеликах та газетних фельєтонах. Поруч з виданням творів Драгоманова треба подбати й про видання його листів.

Д. Д—но.

В. Чеховскій. Київскій митрополитъ Гавріиль Банулеско - Бодони (1799—1803. гг.). Киевъ. 1905 г.—1—306 стр.

Давно вже вчені зняли дуже важне питання про те, хто має більш значіння в історичному процесі—окремі одиниці, чи ті обставини, серед і під впливом яких їм доводиться працювати. Ріжні вчені дуже неоднаково роз'язували це складне питання. Поминаючи численні цікаві змагання з цього приводу і приймаючи до уваги головним чином ті непорушні факти, які дає історія, можливо, хто цікавиться нею та в її сфері працює, ми помічаємо, що таких людей, які б стали історичними діячами, виключно через свої визначні таланти та широку енергію, які б сами через себе заробили голосної слави в історії,—дуже мало. Більшість же так званих історичних діячів це—люде, які працювали так або инакше не з власної волі та ініціативи, а через те, що до такої саме праці нахляло їх життя, що в иншому напрямкові працювати вони й не мали змоги, що боротися проти дужої хвилі потоку життя вони не могли. Це не творці історії, це—більше її раби.

Письменник, який береться писати про справжнього історичного діяча, про чоловіка з широкою власною ініціативою, му-

силь не тільки дати загальну характеристику того часу, коли жив та працював відомий історичний діяч, але й виділити з-окрема те, що саме зробив цей діяч з власної волі, що він зробив, яко окрема історична одиниця. Значно легше завдання того письменника, який пише про мало видатного діяча, про такого чоловіка, якого зробили цікавим тільки ті обставини, серед яких йому довелося жити. Такий письменник повинен тільки розповісти про те, як складалося життя в ті часи, коли жив і працював цікавий за-для нього чоловік, і вяснити, які саме обставини примусили цього діяча в тому або іншому випадкові піти такою, а не іншою дорогою. Тоді, як перший письменник мусить головну увагу звернути на окрему особу,—другий повинен полишити окрему особу на боці, а змалювати, яко мога, ясній той час, коли жила й працювала ця особа.

Київський митрополит Гавриїл Банулеско-Бодоні (1799—1803 р.р.), про якого оповідає в своїй книжці д. Чеховський, яко історичний діяч,—особа взагалі мала цікава. Ось через що автор головну свою увагу повинен був звернути на характеристику того часу, коли довелося жити й правити Київською катедрою Гавриїлові Банулеско-Бодоні. „Завдання цієї праці,—пише д. Чеховський,—змалювати діяльність м. Гавриїла Бодоні, що до керування Київською єпархією (з р. 1799 по 1803), в з'язку з тогочасним напрямом російського церковно-державного життя та загальним ходом місцевих єпархіальних справ і умов суспільного життя“ (5 стор.).

Це був надзвичайно цікавий і важний час. В-цей саме час роз'язувалась велика історична драма, яка тяглась ще з початку XVIII в.

Під час з'єднання з Москвою українська церква, як відомо, мала багато окремішностей, які були тісно з'язані з самим духом і характером українського життя і владі. На протязі всього XVIII в. вона боролася з централізмом московського уряду, який хотів знищити навіть і пам'ять про колишні, давні звичаї та вольности української церкви. Це була важка боротьба. Закінчилась вона повною побідою центрального московського уряду: українська церква була зовсім обмосковлена, втратила одну за одною всі свої окремішности, стала зовсім такою, як і московська.

Обмосковлення української церкви під кінець царювання Катерини II можна було вважати вже закінченим, головним чином через довголітню москвофільську політику м. Київського Самуїла Миславського (р.р. 1783—1796). Однак трапилися де-які обставини, які нахилили до боротьби з старими українськими звичаями та порядками й м. Гавриїла Бодоні, що був у Києві митрополитом вже за царювання Павла та Олександра I (р.р. 1799—1803).

Це була зміна території Київської митрополії. Р. 1797 до Київської єпархії, яка до цього часу складалася головним чином з сучасних Чернігівської та Полтавської губерній, було приділено значну частину земель, що одійшли до Росії після останнього розділу Польщі. Ці землі склали десять повітів Київської митрополії з дванадцятьох повітів, які входили в її територію. Оця ось зміна території Київської митрополії й примусила м. Гавриїла, родом румуна, чоловіка, який дослужився до такого високого рангу, тільки через свою надзвичайну улесливість, покірливість та слухняність, що до наказів уряду,—завести ті самі порядки і в новій частині Київської митрополії, які вже попередю завели в ній його попередники.

Кажучи про завдання діяльності м. Гавриїла, д. Чеховський зауважає, що найбільше він (Гавриїл) дбав, щоб „добитись повного „Купночинія“ з великоросійською церквою. А за-для цього повинен був знищити сліди уніяцтва в церковно-парахвіальному житті, а разом з цим знищити й самостійні окремішності церковно-парахвіального та єпархіяльного ладу південно-російської (української) церкви“ (31 стр.). Характеризуючи в своїй книзі діяльність м. Гавриїла під час його пробування в Києві, д. Чеховський далі досить старанно зазначає всі ті події та накази митрополіта, що мали на меті зміну стародавніх українських звичаїв церковних на нові, московські. Дуже цікаво оповідає він про боротьбу м. Гавриїла з пропагандою унії та католицізму. В цій главі (1-ій) особливо інтересні сторінки, на яких розказується історія з конфіскацією уніяцьких книг, що друкувалися в Почаєвській Лаврі (64—77 стр.). В дальших главах своєї книги д. Чеховський повно й докладно говорить про те, що робив м. Гавриїл, щоб поліпшити матеріяльне становище українського духовенства (2 гл.),—які зміни зробив він у строї внутрішнього життя парахвій київської єпархії (3 гл.), в сфері діяльності органів єпархіяльного урядування і в житті Київської академії (4 гл.), щоб завести московські порядки.

Написана головним чином на підставі нових, ще невідомих архивних матеріалів, книжка д. Чеховського читається з великим інтересом і дає багато цікавих, нових відомостей. У своїй книжці д. Чеховський щасливо зумів поминути ті численні перешкоди, які стоять на дорозі архивного робітника. Звичайно, роботи, написані на підставі архивних матеріалів, або мають на увазі спеціалістів і через це занадто скучні й сухі, мало цікаві, повні сирого, необробленого матеріялу,—або призначаються за-для звичайного читача, зовсім ігнорують архивний матеріял, засновуються головним чином на выводах з архивних даних, через це явсь одриваються од тієї епохи, про яку оповідають, і втрачають значну частину своєї наукової вартости. Д. Чеховський вибрав

середню стежку в своїй роботі,—ось через що його книжку з рівною цікавістю може читати і спеціаліст, і звичайний читач.

Історія української церкви ще мало розроблена. Ще так багато треба працювати, щоб написати, як слід, цю історію. Хотілось би, щоб д. Чеховський і на-далі не залишив так гарно розпочатої роботи, щоб він не обмежився тільки розвідкою про Гавриїла Бодоні, а з таким же успіхом працював і далі над розробленням історії української церкви. Тепер, коли зналося питання про автономію України, досліди з минулого української церкви можуть мати особливо велике значіння. Історія української церкви, найбільш історія XVIII в., може дати не мало доказів потреби автономії і її законности.

В. Мировець.

Переход на хуторі. (Від Гайсинської Земської Управи). *Гайсинь*, 1906, 1—26, in 16^o.

Подільські аграрії (бо хто ж инший заправляє тепер у „туберкульозному“ земстві правобічної України?) заходилися подільських селян розуму навчити та й видали, підроблюючись під їхню мову, книжечку про те, як мужика щасливим навіки зробити. А зробити це—дуже просто: досить узяти „одръ“ свій, вийти на поле, сісти там хутором, завести плодозмін (так—рук у 9 або 12!), і горни гроші лопатою,—таке добро з того! Та поміркуйте сами,—хиба ж то не райське життя настане, коли на хуторі всі повибіраються: 1) „на хуторі допіро чоловік робиться поліоправним хазяїном; допіро він може хазяїнувати так, як йому треба і як того вимагає наука“,—очевидно, кожен хазяїн, скоро вибереться на хутір, зараз передплатить німецькі та англійські хліборобські часописи, випише тисячу пуд „землеудобрительныхъ туковъ“, і тоді матиме „по 200 пуд. пшениці, або доброго сіна, і по півтори тисячі пуд. цукрових бураків, а по дві і три тисячі кормових“; 2) „на хуторах зменшається і п'янство, бо далше ходити до монополі“; 3) „на хуторах зменшається злодійство, бо трудніше вивести коні з дому, як з поля“;—4) „на хуторах зменшаються болезні на скотині, бо скотина не ходить купою в одній череді“,—на хуторах і люде не мруть, і плата заробітна більша, бо, бачте, кожен коло свого хуторця ходитиме; на хуторах не сваряться, не б'ються—бо ні меж, ні сусід близьких немає,—одно слово,—рай земний...

Усе гаразд у гайсинського земського письменника, — про одне тільки щось він промовчує: а чи встане ж нашому селянинові своєї землі на хуторі, щоб і в 12 рук плодозмін завести і

мати стільки роботи на своєму, що не треба буде й на чуже ходити! Але про це не варто здійсмати розмови, це—дурниця, вся сила в тому, щоб на хутір усім вибратися...

Мудра рада, пане земський гайсинський письменнику,—що й казати! А от ще про одну райську приметку хutorного хазяйства ви й забули, то я пригадаю: на хуторах не буде ні мітінгів, ні страйків, бо всі по полях розсядуться, і кожен тільки свого вуточка глядітиме... На хуторах ніякого громадського діла робитися не буде, бо кожного хата буде скраю, бо люде гуртом не збиратимуться, ні про що „непотребне“ не міркуватимуть... Чи не цього, власне, вам і хотілося б, а ви так немов би то про це й не догадуєтесь... І про землю, щоб на 12 рук вистачило її хutorянинові, ви теж не догадалися... Які ж бо недогадливі!

В. Д.

„Олександръ Македонський, вельный войовникъ.“ *Оповідання.*
У Києві, 1906 р. Видавництво „Вік“ № 53. 92 + 4 боки.
Ціна 8 коп.

Оповідання „Олександр Македонський“, змістом якого є життя великого македонського войовника, написано гарною народньою мовою. Видавництво „Вік“, яке видало цю книжечку між іншими популярними книжечками за-для народу, зробило дуже коштовний вклад у наше популярне письменство. Образ Олександра Македонського, цього славетного войовника, про якого напевно нашим селянам та й звичайній середній, простій людині, доводилось чути тільки якісь „велебні“ восхвалення, після цієї книжечки позбудеться трохи свого героїчного слява. Автор оповідання (прізвище якого не підписано), видимо, мав своїм завданням яскраво виявити лихі наслідки войовничих славетних учинків, усе лихо, яке єсть од війни. Кров і сльози, руїна і хиже насильство, з яких таку велику славу складають так званим героям війни, дуже добре встають перед очима в читача... і величний образ славетного історичного героя повивається в темряву... викликає огиду, обурення. От наслідок од читання цієї книжечки. Автор, додержуючи своєї мети, дуже добре, на нашу думку, робив, коли при кінці мало не кожного розділу книжечки, скінчивши оповідати про якесь окреме Олександрове славетне злочинство, висловляв свою власну гадку. Наведемо приклад. Розказавши про те, як Олександр ходив воювати індійську землю, автор додає: „Таъ Олександръ и вертаючысь до-дому, заливавъ кров'ю землю, по якій ишовъ, и грабувавъ та руйнувавъ усе. Всюди, де винъ проходивъ, за имъ zostались стоптани поля, жеври-

лы попалени міста й села, лежали купама трупы, чути було гиркий плач та прокльоны“. (78 бік). На прикінці книжечки, автор каже про Олександра: „...И пишовъ винъ воюваты, и кровю та слъозама залывъ свить, пожарами страшнымы освитьвъ його. И не було ніякого добра зъ того, тилькы велике лыхо. Бо війна зло, а зо зла хйба жъ буває добро? Людямъ треба воли, а Олександръ повертавъ ихъ у неволю“... (91 бік). Дуже шкода, що ця книжка не з'явилася в світ під час нашої останньої війни. Але й тепер вона матиме велику вагу і треба яко мога більше ширити її між людьми.

Л. П—ський.

Українська пресса.

Як припинено 18 серпня „Громадську Думку“, то без малого місяць на Україні російській не було своєї щоденної газети, і вже аж 15 вересня почала виходити, в Києві ж таки, щоденна політична, економічна і літературна газета „Рада“. Почала вона виходити під редактуванням д. Б. Грінченка; але з 7-го числа редактором став д. М. Павловський, а д. Грінченко зостався тільки видавцем.

„Издательскій Комитетъ О-ва Грамотности“ в Харькові сповістив, що з початку жовтня він почне видавати въ Харькові тижневу „Народню Газету“.

В оповістці про неї написано, що вона „насамперед дбатиме про те, щоб давати як найширші та вірні відомости про всі події теперішнього політичного та економічного життя взагалі й про земельні відносини з окрема та пояснювати значіння їх для робочого люду“. Ціна газети 1 крб. 50 коп на рік, або 15 коп. на місяць.

Оповістку про газету надруковано з *Ы* та з *Ъ*, одно слово так зваим урядовим правописом, а не фонетичним. Це примушує думати, що й газету друкуватимуть таким саме правописом. Але цього не варт робити. Українці, правда, друкували тим правописом книжки, але ж то робилося з примусу: не дозволялося друкувати фонетикою, то вже доводилося вживати так званого *ярижного* правопису, хоча він дуже не відповідає українській фонетиці. Тепер же, коли вільно вживати правопису фонетичного і коли всі книжки й періодичні видання (за винятком „Світової Зірниці“) друкуються фонетикою і читачі до неї вже досить по-

звикали, не варт вертатися до Ї та Ъ та спантеличувати сільського читача, який тільки почав привчатися до одного правопису, а тут треба буде знов перевчатися. Не варт вертатися до *яриж-ного* правопису ще й через те, що всі шкільні підручники, які тепер почали виходити, дружуються фонетикою, українські граматики вчать писати тільки фонетичним правописом, то й тим, хто вчитиметься по українських підручниках, тяжко буде читати правопис *ярижний*.

Годиться ще зазначити, що „Полтавская Земская Газета“ почала містити часом популярні статійки за-для селян українською мовою.

В Америці українська преса зростає: в Нью-Йорку д. Хромовський почав видавати журнал „Робітник“; виходить він двічі на місяць.

З жалем доводиться зазначити і деякі втрати. Після № 14 перестав виходити тижневик „Український Вѣстникъ“. Перестав він виходити через непорозуміння з видавцем. Велика шкода, що так сталося, бо орган цей був дуже користний і потрібний тим, що знайомив з національним українським питанням людей інших національностей. Дуже бажано було б, щоб він зміг знову заговорити до своїх читачів і робити далі своє користне діло.

„Українське бжільництво“ перестало виходити через „незалежні від редакції обставини“ і вертає своїм передплатникам гроші.

Що є по журналах.

Зоря. Ч. 7—8. Ліс гомонить. Поліська легенда. *Вол. Короленка*. Переклад М. Вдовиченка.—Практический курсъ для изученія малорусского языка. (Практичний курс для вивчення української мови). Проф. *А. Крижського*. Ілюстрації: Знімки з малюнків *Бейди* і *Завадзького* і з фотографій *Щербаківського* (вишивання й посуд з вистави українського майстерства у Києві).

Нѣвская Старина. Іюль—августъ. О положеніи крестьянъ юго-западнаго края во 2-й четверти XIX ст. *Ор. Левицкаго*. Польская и великорусская политическая печать 70-хъ годовъ по вопросу о народно-федеральномъ направленіи. *М. Драгоманова*. Къ вопросу объ украинскомъ народничествѣ. (Опытъ программныхъ вопросовъ для изученія украинской национальной идеи). *П. Одинца*. Откровеніе св. Степана. (Студія над одним мало відомим апокріфом). *Ів. Франка*. Воспоминанія и автобіографія. *Н. И. Соколова*. Розгардіяш. Твора на 4 дії. *М. Кропивницького*. Признаки укра-

янської колонізації на Уралі. *Вл. Короленка*. Отдѣль II. I. Бібліографія: Новый сборникъ пѣсень. „Малороссійскія народныя пѣсни, собранныя проф. *Д. И. Зварницькимъ*“. *В. Данилова*. II. Документи, извѣстія и замѣтки: а) Договоръ монастыря со снѣцаремъ (1720 г.). Сообщ. *Вл. Короленко*; б) Необходимое поясненіе... *Б. Гринченко*; в) Къ біографіи И. П. Котляревскаго. Сообщ. *И. Фр. Павловскій*; г) Вызовъ полтавскихъ помещиковъ для управленія конфискованными имѣніями въ Волынской губерніи. Сообщ. *И. Фр. Павловскій*; д) Изъ прошлаго Полтавщины. I. Донесеніе Петра Полторацкаго кн. Репнину о грабежѣ имѣній Муравьева-Апостола. II. Жалоба титул. совѣтника Бровка объ отказѣ наградить его орденомъ Владимира 4 ст. Сообщ. *И. Фр. Павловскій*; е) Отказъ губернатора принять въ подарокъ кубокъ отъ харьковскаго дворянства. Сообщ. *И. Фр. Павловскій*.

Літературно-Науковий Вістникъ. Кн. IX. Вірші: Вітрові пісні. *Н. Кибальчич*. Дожинаю вже до краю... *У. Кравченко*. Співанки. *М. Підвірянки*. Молитва. *М. Старицького*. Від сну. *Ол. Красовського*. Пісня. *М. Юльченко-Здановської*. Терен у носі. Опов. *Ів. Франка*. Спомини з російської культурної війни 1877—1878 року. *М. Садовського*. Лихоліття. Дія III. *Гн. Хоткевича*. Стара Русь. *Ів. Франка*. Чорні очі. *Н. Романович*. Із проблемів соціаліста. *В. Панейка*. Посол від „Матушки“. *В. Джорджевича*. Нерви і душа. *М. Гаврилова*. Три ескізи. *Фр. Поппера*. Промова до студентів про науку, релігію і школу. *Т. Масарика*. Суд чотирьох. *Е. Валеса*. Із австрійської України: Виборча реформа.—Із страйкової боротьби.—В університетській справі.—Замкнення школи перед українськими дітьми.—Самовбийство учеників української гімназії в Тернополі.—Револуція в Росії і „один університетський професор“.—„Воля“ в боротьбі з моім „шовінізмом“. *М. Лозинського*. Рецензії: *Ів. Франка* на „Коломийки“ т. II. *В. Гнатюка*; *Кр. Нв*. „Історію географічних відкритъ у XV—XVI ст.“ *С. Гінтера*; *І. Ф.* на „Грунвальдську пісню. (Bogurodzicza dzewicza)“ *В. Щурата*. *І. Ф.* на „Schewtchenkos ausgewählte Gedichte“ д. С. Шпойнаровського. В тій книжці надруковано переклад на німецьку мову одних десятих Шевченкових віршів: „Кавказ“, „Гамалія“, „Тополя“, „Наймичка“, „Не кидай матері“, „Не для людей і не для слави“, „Готово, парус розпустили“, „Ой не п'ються пива, меду“, „І досі сниться: під горою“, „Сонце заходить“).—Книжки, надіслані до редакції.

Ukrainische Rundschau. № 9. Das „gleiche“ Wahlrecht. Vom B. Jaworskyj.—Ein Typischer Streikprozess.—Die Rolle der Polen in der sozialpolitischen Bewegung der Gegenwart. Von O. Turjanskij. Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg im Jahre 1905.—Hruschka. Eine Novelle von I. Semaniuk. Im Interesse der Wahrheit. Von W. Kuschnir.—Rundschau.—Misshandlung eine katholischen Geistlichen im katholischen Österreich. Von W. K.—Ein galizisches Portrait.—Aus der polnischen Presse.—Musikalisches.

Українській Вістникъ. № 12. Постанова вопроса объ автономіи. *М. Могилянскаго*. Крестьянскій банкъ и земельная реформа. *А. Б.* Что такое

національність? Проф. *Д. Овсянко-Куликовскаго*. Памяти М. Я. Герценштейна. *С. Бородавскаго*. Украинская пресса. II. С. Украинская социаль-демократія. *Д. Дорошенка*. Депутаты съ територіи Украины и дѣятельность ихъ въ Государственной Думѣ. III. Законопроекты. *Обозрѣвателя*.

№ 13. Задача момента.—Аграрный пластырь. *А. Лотоцкаго*. Національність, какъ предметъ политики. Проф. *Д. Овсянко-Куликовскаго*. Нужды средней школы на Украинѣ. *Н. Дмитріева*. Изъ украинскихъ настроеній. *М. Мотилъскаго*. Аграрное движеніе на Украинѣ. II. П. Закоeanская Украина. *А. Кука*. Судьбы украинской печати. Хроника.

№ 14. *Передовая*. Политическія перспективы.—Аграрные очерки. *Херсонца*. Тетга incognita. *О. Блюусенка*. Курсы народныхъ учителей въ Кіевѣ. *С. Русовой*. Украинское крестьянство о роспускѣ Думы.—На Украинѣ. *Обозрѣвателя*. Хроника.

Нові книжки.

Гнатюк В. Коломийки т. II. (Етнографічний Збірник, видає Етногр. Комісія Наукового Товариства імені Шевченка, т. XVIIІ). У Львові, 1906. 316 бок. 8°. Ц. 4 коп.

Горова Н. Василь Матюренко. Оповідання Н. Горовой. Изд. Кіевскаго Общ. Грамотности. К. 1906. 56 бок. 16°. Ц. 8 коп.

Гинтер С. Історія географічних відкритъ у XV—XVI ст. З географічною картою. Пер. із німецької мови Микола Чайківський. Накл. Укр. руської Видавничої Спілки. У Львові, 1906. 1+160 бок. 8° і мапа.

Джиджора Ів. З новійшої української історіографії (А. Єфименко, Южная Русь, I—II). (Відбитка з „Записок Наук. Тов. ім. Шевченка“, т. LXXI). У Львові, 1906. 24 бок. 8°. Ц. 25 сот.

Залозний П. Коротка граматика української мови. Частина перша. Видання книгарні Г. І. Маркевича. Полтава, 1906. 68 бок. 8°. Ц. 30 коп.

Овчинниковъ В. Паньська хворість, або не берьсь жинку обдурити. Жартъ въ одній діи зъ співами та танцями В. П. Овчинникова. К. 1906. 34 бок. 8°. Ц. 15 коп.

Петец В. Українське питання в освітленню польського поета XVII віка. (Відбитка з „Записок Наук. Тов. ім. Шевченка“, т. LXXI). У Львові, 1906. 18 бок. 8°. Ц. 20 сот.

Пужалъський И. С. Украинський початковий букварець. Полтава; 1906. 23 бок. 8°. Ц. 10 коп.

Федькович О. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Вибір з першого повного видання для ужитку молодежи зладив Іл. Кокорудз. У Львові, 1906. 410 бок. 8°. Зміст: 1. Думи і співанки. 2. Балади і оповідання. 3. Поезії 1862—1867 р. 4. Поезії видані в Коломії 1867—1868 р. 5. Поезії 1868—

1869. 6. Дикі думи, думав Гуцул-Невір. 7. Поезії 1885—1886 р. 8. Співанники.
9. Слава Ігоря.

Чехов А. Освідчини. Жарт на одну дію Антова Чехова. В перекладі К. Лоського. Київ, 1906. 16 бок. 16°.

Schewtschenkos ausgewählte Gedichte. Aus dem Ruthenischen mit Beibehaltung des Versmasses und des Reimes übersetzung mit den nötigen Erklärungen versehen von Sergius Spoynarowski, k. k. Gymnasialdirektor. Zweites Heft. Preis 80 h. Czernowitz, 1906. 8°. Боки 37—84.

Як жив український народ. (Коротка історія України). Коштом книгарні „Кіевской Старини“. У Києві, 1906. 48 бок. 16°. Ц. 3 коп.

Яструбецький Г. Промова священника о. Гната Яструбецького, виголошена під час вінчання Григорія та Марії Вдовиченків. На спомин 20 серпня року 1906, село Антопіль. Київ, 1906. 3 боки. 8°.

Редактор-видавець *Є. Чикаленко.*

Місячник для селян з відділами: політичним, господарським і лі-
карським почав виходити з 1-го листя.

ХАТА

Виходитиме 1-х чисел кожного місяця книжками 272 аркуші 8^о.

Місячник **ХАТА** коштує: за $\frac{1}{4}$ року 95 коп. за $\frac{1}{2}$ року 60 к.
окрема книжка 25 коп.

Передплата і листи адресуються:

єдинці, Бессарабської губ. Д-ві Немоловському.

Редактор-видавець Д-р Немоловський.



ПРОДАЮТЬСЯ В КНИГАРНІ
„Кіевської Старини“

(Безаківська, 8).

— оці книжки —

Б. ГРИШЧЕНКА.

1. Сам собі пан. Оповідання.
Ціна 3 коп.
2. На безпросвітномъ пути. Объ української школъ.
Ціна 25 коп.
3. Якої ням школи треба.
Ціна 4 коп.
4. На новий шлях.
Ціна 30 коп.
5. Бебель та Пернерсторфер. Національна та інтерна-
ціональна ідея. Переклад з передмовою В. Г.
Ціна 15 коп.
6. Оповідання з української старовини. Вып. I.
Ціна 10 коп.
7. Народні вчителі і українська школа.
(Друкується).

НОВА ГРОМАДА

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ МІСЯЧНИК

містить твори красного письменства (поезії, оповідання, повісті, драматичні твори), наукові й публіцистичні статті, огляд політичного і громадського життя на Україні й по-за її межами і т. и.

Виходить що-місяця книжками по 10 аркушів друку.

В перших сімох книжках надруковано оригінальні й перекладні твори оціх авторів: Х. Алчевської, А. Бебеля, П. Беранію, О. Білоусенка, Ів. Бондаренка, В. Винниченка, М. Вороного, П. Грабовського, Г. Гейне, А. Геймана, Г. Григоренка, Б. Грінченка, В. Гюго, Н. Дмитрієва, В. Доманицького, Д. Дорошенка, С. Єфремова, Ж. Жюльєна, М. Загірні от, П. Капельгородського, М. Кошарова, М. Коцюбинського, проф. А. Крицького, М. Левницького, І. Липи, М. Лозинського, О. Лотоцького, Мандріюца Д. Марновича, Ф. Матушевського, В. Милорадовича, В. Миронця, М. Павловського, Л. Пахаревського, Є. Пернерсторфера, В. Піснячавського, І. Рувьки, В. Сименького, П. Смутна, Г. Супруненко, А. Тесленка, І. Труби, Л. Українки, Ф. Фогі, А. Франса, М. Чернавського, С. Червченка, М. Чернилського, Н. Черняна, Б. Щербаківськи от, Л. Яновської, Б. Ярошевського та ин.

Ціна зь пересилкою на рік 6 карб.; за кордон— 8 карб. 50 коп.; окрема книжка коштує 60 коп.

Адреса редакції місячника **НОВА ГРОМАДА**— Київ, Велика Підвальна вул. д. 6, біля Золотих воріт.

Рукописи, яких редакція не візьме до журналу, беруться ність місяця після того, як одіслано про це звістку автором, а тоді, коли автор не прийде на пересилку їх грошей,—зничуютьсь.—Вірші, що вказі до друку, довсім не збергаютьсь; коли автор не одернить три місяці ніякої звістки про їх, він може дати їх до иншого видання. З приводу віршів редакція **НЕ ЛИСТУЄТЬСЯ**.

Передплачувати **НОВУ ГРОМАДУ** можна також у книгарні «Кієвскої Старини», у Києві, Безаківська ул. № 14. У Львові журнал можна передплачувати в Книгарні Наукового Товариства ім. Шевченка, ул. Театральна, ч. 1.

Редактор-видавець Е. Чикаленко.

